

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Юрий Казаков
**ДВОЕ
В ДЕКАБРЕ**





ЮРИЙ КАЗАКОВ

ДВОЕ В ДЕКАБРЕ

Рассказы

*Рисунки
А. Веркау*

W. Kazakov

1927—1982

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
2001

Составление и
вступительная статья
Е. А. ШКЛОВСКОГО

Портрет автора работы
Т. ЯКОВЛЕВОЙ

© Издательство «Детская литература».
Оформление серии, 2000
© Е. А. Шкловский. Составление.
Вступительная статья, 2001
© Ю. П. Казаков. Текст, последики.
© А. Веркау. Рисунки, 2001

ISBN 5-08-003962-0

ДАЛЬНИЙ ПУТЬ К БЛИЗКОМУ

Один из лучших рассказов Юрия Казакова «Свечечка» начинается с того, что герой испытывает острую тоску. Они с маленьким сынишкой одни в теплом освещенном доме, а снаружи ноябрьская тьма, ветер, печальный шум обступившего дом леса. И вдруг эта мучительная тоска — «хоть вешайся!».

Можно скользнуть по первым строчкам рассказа и, заразившись настроением автора, которое так сильно умел передавать Юрий Казаков, двинуться дальше, но давайте задумаемся: взрослый человек, сильный и опытный, под властью тяжелого настроения почти готов свести счеты с жизнью, а рядом — ничего не подозревающий, живущий в своем радостном и светлом мире ребенок. Малыш и не чувствует нисколько своей незащищенности и малости: ведь рядом с ним отец, с которым ничего не страшно, самый сильный и самый добрый. Откуда ему знать, что отец, пока сынишка занят своими игрушками, мучается, страдает от неведомой ему самой темной силы? Что даже теплый дом и счастье отцовства ему не опора?..

Подумайте только, какая пропасть здесь открывается! Отец и дитя, в сущности, незащищены перед жизнью. И прочность дома, и уют, и все остальное создают лишь иллюзию надежности, потому что сам человек, его душа подвластны ненастью.

Так, фактически первой же фразой рассказа Юрий Казаков вводит глубоко драматическую тему, которую условно можно обозначить как «человек и жизнь» и к которой всегда обращено подлинное искусство.

Однако вчитаемся еще раз в первые строки «Свечечки», вслушаемся в них:

«Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться — хоть вежайся!

Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А за окнами уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг дома начинал шуметь печальным голым шумом.

Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя...

Дождя не было.

Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять».

Все слова здесь просты и знакомы, да и изображаемое рассказчиком обыкновенно и буднично. Но попробуйте поменять их местами — очарование исчезнет, текст перестанет излучать ту загадочную энергию, которая и является глубинной сутью художественности. А как много общего здесь у прозы с поэзией.

Да, мы знаем: ритм, интонация... Все так, и тем не менее непостижимо. Мы словно заново открываем осень, печаль предночного часа, шум облетевших деревьев, маящий свет в окнах теплого дома... И самое главное — мы вдруг начинаем ощущать радость, счастье и чудо жизни.

Думаю, именно здесь разгадка притягательности казакской прозы. О чем бы он ни рассказывал — о детстве ли, о полюбившемся ему навсегда Русском Севере, о привороживших белых ночах, о животных, любви или охоте — «надо всем, во всем — великое очарование живой жизни», как точно заметил о его прозе другой замечательный писатель — Ю. Трифонов.

Казалось бы, парадокс...

Рассказчик говорит в «Свечечке» о тоске, о чернеющей земле и своей нелюбви к темноте, к ранним осенним сумеркам, к серым дням, к поздним рассветам. И это не фраза — мы ведь тоже чувствуем вместе с автором эту сосущую смертную тоску последнего увядания, и темь, и печаль...

Но сквозь тоску пробивается что-то иное, звучит все громче, набирая силу к финалу рассказа, — и вот уже только счастье и радость жизни слышны нам, и тем пронзительней эти аккорды, что в них вплетены звуки горечи и страдания.

«Впрочем, — продолжал я, — не обращай внимания,

это мне просто тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно, и ноябрь тоже! Ноябрь — как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво — это просто кажется, а на самом деле все живет».

Это рассказчик успокаивает даже не столько сынишку, сколько себя самого.

Так чего же все-таки больше в этом мире? Этой самой ужасной тоски, способной затмить разум человека, перекрыть кислород его легким, или же радости от ощущения полноты и насыщенности бытия?

Ни того и ни другого. Или, вернее, и того и другого — как неотъемлемой способности человеческого сердца печалиться и радоваться, восхищаться и негодовать... Одним словом, самой жизни в ее полноте и многообразии, в ее непредсказуемости и свободе.

Именно в этой безусловной самооценности жизни убеждают нас лучшие произведения Юрия Казакова, и прежде всего те, где появляются у него образы детства: ранние — «Ночь», «Никишкины тайны» и поздние — «Свечечка», «Во сне ты горько плакал».

Через эти рассказы, через их особенный, неповторимо нежный лирический настрой, как по тонким дощечкам, проложенным через болотную топь к заветным охотничьим местам (этот образ навеян казакским же рассказом «Долгие Крики»), мне кажется, можно выйти к главным источникам, питавшим творчество писателя.

Вот ранний рассказ «Ночь», невольно заставляющий вспомнить тургеневский «Бежин луг». Ночь, двое подростков у костра, где-то за деревьями плеск реки, непритязательный разговор ребят со случайно набредшим на огонь рассказчиком.

Из этого разговора мы узнаем, что старший из ребят, Семен, работающий лебедчиком на лесосплаве, не только остро и глубоко чувствует природу, но еще и наделен талантом музыканта. Его заветная мечта, которой он доверчиво делится с едва знакомым человеком, — сочинить «одну вещь» про ночь, про ее таинственность и прелесть, тишину, гуд сосен.

«Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну звезды там или туман над рекой. А в музыке я все могу, на сердце щемит у меня, лягу спать — не сплю, а засну — часто такая музыка играет!»

Эта музыка хорошо понятна самому рассказчику, как близки ему отзывчивость, чуткость и щедрость просто-сердечно открывшейся детской души.

Рассказ — о встрече двух духовно близких людей, подростка и взрослого, о чьем трепетном восприятии окружающего мира мы узнаем из лирического зачина повествования. Перед нами — две очарованные души. Очарованные жизнью, ее волшебством и таинством.

И вот что важно — у всего, что окружает рассказчика, что встречает он на своем пути, есть привкус счастья. Ночь, костер, стук сталкивающихся на воде бревен, далекий крик сплавщиков, песня, в которой не разобрать слов, приветливый голос мальчугана — все это неповторимые, наполненные поэзией и красотой моменты жизни, на которые откликается чуткая душа.

«Счастье» — ключевое слово в прозе Юрия Казакова, и многим его героям даровано испытать это состояние или хотя бы нечто похожее.

Но что такое это счастье?

Герой рассказа «На острове», ревизор Забавин, говорит так: «Надеются обычно на будущее... Надеются на будущее: и живут мелко, суетливо, неинтересно... Живут, не видя рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я... А между тем счастье у нас во всем, везде...»

Забавин, в отличие от некоторых других персонажей Юрия Казакова, не лирический герой, но его мысль, что «счастье у нас во всем, везде», близка самому писателю.

Герой рассказа «Кабиасы», заведующий сельским клубом Жуков, проходя ночью через лес, испытывает жуткий страх — мерещатся преследующие его таинственные и недобрые существа «кабиасы». А дома, уже собираясь заснуть, он вдруг совершенно по-другому увидел весь свой путь и теперь уже переживает его «со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц».

Каков контраст: от страха — к счастью! Какова амплитуда переживания! И все потому, что герой не только как бы заново — «будто сверху, с горы» — увидел все, что пришлось ему пройти, но и «услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час».

Попробуйте-ка отыскать интеллектуальный эквива-

лент этому «услышать жизнь». Бесполезно! Можно так или иначе описать подобный глубинный контакт с бытием, но выразим он только на языке музыки. Не случайно Семен в «Ночи» понимает бессилие слов передать его чувства, не случайно так много значит музыкальность в прозе Юрия Казакова.

Здесь можно говорить об особой настроенности души, об откровении, об обретении иного, сущностного, зрения, равносильного открытию мира.

Во многих рассказах Юрия Казакова и происходит такое открытие. В «Тедди» просыпающийся постепенно инстинкт возвращает сбежавшему из цирка медведю утраченные за годы неволи навыки лесной жизни и вместе с ними «великий, таинственный смысл жизни».

Вместе с пробуждением охотничьего инстинкта обретает смысл жизни и слепой гончий пес Арктур («Арктур — гончий пес»): ему дано как бы иное зрение, вызволяющее из убогости слепоты и зависимости, возвращающее радость бытия.

Заново открывает мир и Алеппа, герой рассказа «Голубое и зеленое», полюбив девушку Лилию. Юрия Казакова волнует поэзия первого чувства, пробуждающего в человеке все силы жизни, обостряющего его восприятие действительности и в то же время дающего писателю возможность наиболее полно использовать свой дар — дар удивительно острого осязания жизни, ее цвета, запаха, вкуса.

Об этом даре Юрия Казакова достаточно много сказано. Вот как объясняет его действие и значение В. Конечный: «...Своей прозой он попытался восстановить и в самом себе, и в читателях нашего поколения радость жизненной плоти. Эта живая радость, которая бывает и животной, дана человеку, дабы немного скрасить ему мучительность духовного существования. Мы — и непосредственно воевавшие, и хлебнувшие — к пятидесятым годам утратили вкус, обоняние, наслаждение видом тонкого стекла, цветом напитка, женским изяществом. Мы торопились нажраться, коли была жратва».

Актуальность такого художественного восприятия жизни имела и внутрилитературные причины. Юрий Казаков во многом продолжал традицию И. Бунина, М. Пришвина, К. Паустовского, которая в те годы была незаслуженно оттеснена на периферию литературного

процесса. Своими произведениями писатель способствовал возрождению лирической прозы и тех ценностей, которые она утверждала. И прежде всего — ценности самой жизни, ее процесса, ее «великих пустяков», если воспользоваться еще раз словами Ю. Трифонова.

Нужно отметить, что Юрий Казаков в своем творчестве конца пятидесятых — начала шестидесятых годов затронул ряд важнейших тем, которые позже выдвинутся в центр литературного сознания; он как бы предвосхитил их общественную значимость, хотя тогда ему не раз предъявляли упреки в асоциальности, абстрактном гуманизме и прочих грехах. А ведь сегодня можно только удивляться именно социальной чуткости писателя.

«На полустанке», «Трали-вали», «Голубое и зеленое»... За каждым из этих рассказов Юрия Казакова ныне легко просматриваются разные ветви нашей прозы — «деревенская», «городская», «лирико-психологическая» и т. д. Писатель как бы синтезировал их в своем творчестве, хотя, скорей всего, вовсе не ставил себе такую цель. Просто он внимательно наблюдал жизнь, думал о ней, интуицией художника открывал явления, над которыми общественной и литературной мысли еще придется потрудиться в последующие годы.

И все-таки главным в его творчестве было именно глубинное чувство самоценности жизни как таковой и правомерности, законности устремления человека к счастью. Послевоенный человек в его произведениях действительно словно заново обретал вкус к жизни, учился жить и быть счастливым. И учеба эта требовала серьезной внутренней перестройки.

Довоенные годы с их пафосом социального строительства и перетряской всего жизненного уклада, страшная война 1941—1945 годов и трудные годы восстановления — все требовало от человека постоянных сверхусилий, огромного напряжения. Однако такое напряжение не может длиться бесконечно. Как только оно начинает спадать, перед человеком сразу же возникает множество проблем.

Отдаленные цели уже меньше определяют смысл существования, зато резко возрастает роль сегодняшнего, текущего дня. Счастье предполагается уже не где-то там, за горами и долами, не за грядой лет, не в неизвестности и туманности будущего, не для будущих поко-

лений только, но — здесь, поблизости, только надо разглядеть его.

Надо научиться быть счастливым.

И было бы ошибкой, объявляя целью общественного развития благо человека, отрицать его право на счастье именно сегодня, квалифицировать его стремление к счастью как мещанство, асоциальность и т. п., что в те годы было достаточно распространено.

Разумеется, и в этом стремлении возможны передержки, тупики, противоречия, способные обернуться и холодным лицом равнодушия, и гримасой алчности, и злобным взглядом жестокости, особенно если человек руководствуется только своим корыстным интересом и готов все и всех принести ему в жертву. Все это вполне реально — последние десятилетия выдвинули много тому свидетельств, о которых невозможно говорить без горечи и гнева.

Но вопрос опять же упирается в понимание счастья.

Юрий Казаков в своих рассказах открывал то, что, в сущности, давно уже было открыто, но заслонено, отодвинуто трудными, суровыми годами, — теплоту и красоту простой трудовой жизни с ее малыми, казалось бы, но, по сути, великими радостями. Он находил поэзию в вещах самых непритязательных и будничных, но необходимых, как вода, воздух, хлеб. Он поэтизировал человеческие чувства, возвращая им ценность, — ненароचितо, без дидактического нажима, хотя и у него иногда появляются полемические ноты.

Не случайно уже упоминавшийся рецензент Забавин в рассказе «На острове», отвечая каким-то своим потаенным мыслям, спорит с идеей управляемой, регламентированной, расчисленной любви: «Все рассуждают о любви, говорят, и решают, и судят, кому кого любить. Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, выше и сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь!»

Герой говорит — о чем? О загадочности любви, об иррациональности этой великой стихии. Но пафос-то рассказа в другом — в утверждении огромной значимости этого чувства для человека, для его ощущения полноты жизни. Для счастья.

Нет, Юрий Казаков отнюдь не романтизирует такой иррациональности, знает он и об очень тонкой грани между высоким и низким в этой стихии, между прекрасным чувством и грубым вожделением (рассказы «Некрасивая», «Странник», «Ни стуку ни гроку»).

Но она тем не менее есть, эта иррациональность, ее не вычеркнешь из природы человека, какой бы неподобающей она ни казалась, и потому писатель не обходит ее. Тем самым он как бы восстанавливает истинный объем человека, избегает в его изображении произвольной усеченности и неизбежного ее следствия — упрощения.

Это тоже было важным моментом в социально-духовной ситуации тех лет — честный взгляд на природу человека.

Жизнь, по мысли писателя, даже принося страдания, все равно радость. И в Алеше, юном герое рассказа «Голубое и зеленое», первая любовь которого терпит крушение, все равно живет, несмотря на боль, благодарность за испытанное, обогатившее его душу чувство — благодарность к жизни. Поэтому и рассказ оставляет светлое впечатление. Грусть его — просветляет.

Человеческая душа оказывается способной подняться над болью, возвыситься над обидой — преодолеть их именно силой ощущения своей приобщенности к великой и могущественной стихии жизни.

Я прекрасно понимаю всю условность и относительность этого «подняться», а особенно когда человек захлестнут и повержен страданием, когда в сердце нет ничего, кроме боли и отчаянья, и все разумные слова в утешение, все доводы и советы не имеют никакой силы, отпадают, как шелуха.

И тем не менее такое душевное возвышение — реальность казаковской прозы, важнейшее ее внутреннее качество, соответствующий писательскому чувству жизни настрой, которым Юрий Казаков нередко разрешает изображенные в его рассказах коллизии.

Не потому ли и взгляд сверху, объемлющий дальние дали, охватывающий нашу землю как бы из космоса, — этот взгляд становится излюбленным ракурсом изображения у Юрия Казакова?

Вспомним снова финал рассказа «Кабиасы» с внезапной «переменой» оптики восприятия мира у героя. Или вот этот отрывок из рассказа «Адам и Ева»:

«Земля поворачивалась. Агеев вдруг ногами, сердцем почувствовал, как она поворачивалась, как она летела вместе с озерами, с городами, с людьми, с их надеждами — поворачивалась и летела, окруженная сиянием, в страшную бесконечность».

Обратим внимание: земля в этом ощущении героя, да и рассказчика тоже (подобный образ встречается и в «Северном дневнике» Юрия Казакова), — маленькая! Весь, казалось бы, необъятный, необозримый простор жизни, все многообразие людских судеб, красот и стихий природы, оказывается уместившимся на крохотном круглом шарике, летящем в страшную бесконечность.

И это ощущение, и этот взгляд — плоды именно нашей трагедийной эпохи, познавшей самую страшную войну в человеческой истории и чреватой всякими новыми катаклизмами. Поэтому жизнь, столь любимая и боготворимая писателем, предстает уже не всеобъемлющей и не вечной, а хрупкой и уязвимой, подверженной уничтожению, как и шарик с именем Земля.

Поэтому и чувства, вызываемые рассказами, уже иные. Нежность — вот главнейшее из них, окрашивающее повествование казаковских произведений в особенный, неповторимый цвет, придающее им особую лирическую интонацию.

Какой нежностью, какой любовью и умилением овеян, например, образ ребенка в той же «Свечечке»:

«Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенили, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой».

Чувства рассказчика здесь столь трепетны, что эта трепетность сообщается и прекрасному образу младенчества, невольно вызывая поэтическую ассоциацию с колеблемым воздухом пламенем свечи. И автор подводит нас к такой ассоциации: «Да ты сам как свечечка!» — думает рассказчик.

Мне кажется, этот образ дает основания и для еще более широкого толкования, его символика ненавязчива и все-таки достаточно прозрачна в контексте всего рассказа. Колеблемое пламя жизни — оно то вспыхивает ярко, то ровно горит, а то вдруг сникает, и над плавящимся воском еле теплится слабый язычок.

А в рассказе «Во сне ты горько плакал», как бы продолжающем и развивающем главную тему «Свечечки», мы становимся свидетелями угасания пламени жизни в сильном, бодром человеке, приятеле автора.

Вот они встречаются в чудесный солнечный октябрьский день, беседуют о том о сем, а потом у приятеля неожиданно вырываются полные горечи и отчаянья слова: «Когда я был такой, как твой Алеша, мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее?»

«Во сне ты горько плакал» — вершина творчества Юрия Казакова. Именно здесь писатель достигает той степени смысловой плотности, при которой рассказ только и может стать подлинной «моделью» мира. Достигает сочетанием различных планов, сопряжением по-разному эмоционально заряженных образов.

Рассказ начинается с воспоминания о теплом летнем дне, о разговоре автора с его товарищем и их невольной обращенности к полуторагодовалому малышу, сыну рассказчика, прохаживающемуся среди травы и цветов. Эта обращенность, что делает еще не ведающего всей сложности и драматичности жизни мальчугана соучастником пока никем не подозреваемой, но уже как бы зреющей, готовящейся трагедии, — нерв рассказа.

«Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя».

Отцовское чувство в этом рассказе — момент напряженного лирического переживания жизни вообще, свойственного и другим произведениям Юрия Казакова. Но здесь оно во много раз усилено именно глубинным ощущением трагедийности жизни, от которой не заслонен и малыш.

Не случайно драматическая тема рассказа разворачивается от этого светлого и радостного воспоминания к

прогремевшему в пустынном ноябрьском Абрамцеве выстрелу, которым товарищ автора убил себя, и к горькому, неутешному плачу сынишки во сне. Этот внезапный странный плач малыша — «будто оплакивал что-то навсегда ушедшее» — поражает рассказчика, будит в нем тревогу и множество вопросов: «Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?»

Такая приближенность малыша к жизненной сложности и тревога рассказчика за его будущее, безусловно, способствуют силе воздействия рассказа. Да и ракурс, в котором изображено здесь детство, пожалуй, уникален в современной прозе: счастливая идиллия с пульсирующим внутри нервом трагедийности.

В. Конецкий пишет: «Пришвин уверяет, что сказка — это выход из трагедии; что она питается детством, детство — здоровьем, здоровье дается землею и солнцем; и что человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, а с удивлением вернется и сказка...

Итак, надо вернуть себе детство.

А если его не было?

За четверть века нашей переписки вы не найдете у Казакова ни одного детского воспоминания».

В опубликованной переписке В. Конецкого и Ю. Казакова таких воспоминаний действительно нет. Да и в рассказах последнего они редки. Но вот одно всплывает как раз в рассказе «Во сне ты горько плакал» — воспоминание из военного времени: мать и сын прощаются с отцом-заключенным, которого, как можно понять из рассказа, увозят под конвоем в концентрационный лагерь (отец Казакова, подобно многим другим, безвинно осужденным в сталинскую эпоху, был репрессирован).

«Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец...»

Это неожиданное вторжение в рассказ истории делает его еще более емким и глубоким. Кроме того, данный эпизод становится драматическим фоном счастливой прогулки отца и сына по древней радонежской земле уже в другое, менее беспощадное к человеку время. Эпохи как бы смыкаются, входят одна в другую, и мгнове-

ние отцовского и сыновнего единства, ничем не омрачаемой гармонии насыщается особым — драматическим — смыслом. Мы чувствуем, как бесконечно дорого оно автору, и сами переживаем его как поистине прекрасное, но и как безысходно неповторимое. Мы отчетливо слышим и боль автора — боль расставания с этим мгновением, полным отцовской нежности, умиротворенности и тишины.

В ранних рассказах пятидесятих годов о детстве у Юрия Казакова не было такого драматического чувства. Там детство представало в радостном и гармоническом единении с окружающим миром, с природой и было связано с авторской натурфилософской мыслью о том, что все кругом живое. Там детство несло в себе и удивление, и сказку.

В «Никишкиных тайнах» отец спрашивал сына, приехавшего к нему на тоню:

«— Не боялся ехать-то?

— Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то умный. На вот тебе, мамка наклала, — снимает Никишка кису. — А пошто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небошь ночью-то переваливаются, кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!

— Камни-то? — задумывался отец. — Камни, они, надо думать, тоже живые. Все живое!»

Никишке, когда он проезжает мимо заброшенных рыбацких тоней, чудится, что из окошек выглядывают лешаки, любопытствуя, куда это парнишка едет. А Семен в «Ночи» приглашает рассказчика на охоту в такое место, где охотники еще не бывали и птица непуганая, рябчики, глухари, тетерева, и тут же озеро с плавающими на нем гусями и крякушками, сколько душе угодно. И рассказ подростка звучит как волшебная сказка о граде Китеже, о земле обетованной.

Так вот, от тех «гармонических» рассказов пятидесятих годов Юрий Казаков пришел к рассказам глубокого драматизма — «Свечечке» и «Во сне ты горько плакал», написанным в семьдесятые. Кроме того, нам известно, что писатель работал над повестью «Две ночи» («Разлучение душ»), наброски к которой сохранились, и в частности первая глава. Автор считал ее завершенной.

Глава называется «Ночь первая».

Июль 1941 года. Две женщины и двое мужчин поднимаются на крышу дома где-то на Арбате, чтобы дежурить всю ночь, прятаться от зенитных осколков, слушать грохот выстрелов и взрывов, тушить зажигалки и смотреть на затемненную Москву. И вместе с ними мальчик Коля.

И вот уже на исходе ночи, «в нежнейшем сиянии расвета» — взрыв, клубы черного дыма, взметнувшиеся к небу куски стен и балки Вахтанговского театра, гибель одной из женщин, дежуривших вместе с ними, ужас мальчика... И хриплый, чужой крик матери, когда он, маленький, «с веснушками, с прозрачными ушками, худой», ничего не понимая, бредет, хрустя осколками, по разгромленному Арбату.

Плотное реалистическое письмо Юрия Казакова запечатлевает в этих сценах страшное преобразование действительности: только что жизнь, несмотря на военное время дарившая дежурившим на крыше молодым людям крупницы поэзии — рассвет, их чувства друг к другу, прекрасная вопреки всему Москва, — эта жизнь вдруг становится апокалипсическим кошмаром, заволакивается чем-то черным. И кровь, и крики боли, и смерть...

Видимо, все это было в памяти писателя и постоянно тревожило его — не только как навсегда ушедшее в прошлое, но и как возможная трагедия будущего.

Однако вернемся еще раз к последним казаковским рассказам — «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». В них особенно сильно прозвучали важнейшие для писателя мотивы — дома и огня. Извечное человеческое — дом, свет в окнах, поэзия очага — вот что противостоит угнетающей рассказчика тоске и разлившейся по земле осенней тьме.

Можно сказать, что прозе Юрия Казакова присущ своего рода культ огня — огня освещающего и согревающего, как бы выхватывающего из тьмы бесконечности обжитое и одухотворенное человеком пространство.

Вот рассказчик в «Свечечке» зажигает спичку, чтобы разглядеть в окружающей темноте спрятавшегося сынишку. Вот он зовет его домой, обещая, что дома они будут свет включать и свечи зажигать, потому что мальчик любит горящие лампочки и свечи.

Именно свет становится в этом рассказе символом человеческой жизни, ее самых главных начал и ценностей. Не случайно рассказчик в финале вспоминает свои одинокие скитания поздней осенью на Севере. Была такая же тьма, моросил дождь, он заблудился и уже было отчаялся выйти к жилью, как вдруг впереди, «далеко, как затухающая звезда в космосе», мелькнул ему желтый огонек.

«...Я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь...»

Так выстраивается образно-символический ряд рассказа: мгла — тоска — дитя — свеча — дальний огонек во тьме.

В сущности, этот рассказ — о трудном пути человека во тьме на дальний спасительный свет. Этот свет открывается рассказчику в том, что рядом, близко, — в собственном ребенке, в тепле и уюте родного дома.

Да, все это рядом, близко, но подчас нужно проделать долгий путь страдания и душевной работы, чтобы ушла тоска, отодвинулся душащий мрак. Нужно близкое ощутить близким, чтобы оно подарило свой свет, свое тепло и указало дальнейший путь.

Юрий Казаков был верен этому жизненному и художественному принципу: он открывал свет в том, что близко.

Евгений Шкловский



РАССКАЗЫ



ТИХОЕ УТРО

Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предраассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте... Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один громче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка все-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задом пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель — Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

— Володька! — позвал он. — Вставай!

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнуры. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.

— А не рано? — сипло спросил он, зевнул и, покачавшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил... а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого... заморыша — хотел места рыбные ему показать, — и вот вместо благодарности и восхищения — «рано»!

— Для кого рано, а для кого не рано! — зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

— Ты что, в ботинках пойдешь? — презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. — А галоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

— Ну да, — меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене, — у вас там, в Москве, небось босиком не ходят...

— Ну и что? — Володя снизу посмотрел в широкое насмешливо-злое лицо Яшки.

— Да ничего... Забежи домой — пальто возьми...

— Ну и забегу! — сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом... На что уж Колька да Женя Воронковы рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи — яблоками засыпят! А этот... пришел вчера, вежливый: «Пожалуйста, пожалуйста»... Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал! Идет на рыбалку в ботинках!..

— А ты галстук надень, — съязвил Яшка и хрипло засмеялся. — У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Пускай издевается. Они меня еще узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыб-

ную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал и Яшкиному загару, и той особенной походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленом срубом.

— Стой! — сказал хмуро Яшка. — Попьем!

Он подошел к колодцу, загремел цепью и, вытащив тяжелую бадью с водой, жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

— На, пей! — сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке.

— Ну, как водичка? — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца.

— Законная! — отозвался Володя и поежился.

— Небось в Москве такой нету? — ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся.

— Ты ловил ли рыбу-то? — спросил Яшка.

— Нет... Только на Москве-реке видел, как ловят, — упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку.

Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим:

— Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сома видал...

У Володи заблестели глаза:

— Большой?

— А ты думал! Метра два... А может, и все три — в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал — крокодил. Не веришь?

— Врешь! — восторженно выдохнул Володя и подернул плечами; по его глазам было видно, что верит он всему безусловно.

Яшка изумился:

— Я вру? Хочешь, айда вечером сегодня ловить! Ну?

— А можно? — с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.

— А чего... — Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. — Снасть у меня есть. Лягвы, вьюнов наловим... Выползов захватим — там голавли еще водятся — и на две зари! Ночью костер запалим... Пойдешь?

Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тутой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья?

Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку.

— Трактор! — ответил важно Яшка.

— Трактор? Но почему же он трещит?

— Это он заводится. Скоро заведется... Слушай. Во-во... Слыхал? Загудел! Ну, теперь пойдет... Это Федя Костылев. Всю ночь пахал с фарами, чутко поспал и опять пошел...

Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил:

— Туманы у вас всегда такие?

— Не... Когда чисто, а когда — попоздней, к сентябрю поближе, — глядишь, и инеем вдарит. А вообще в туман рыба берет — успевай таскать!

— А какая у вас рыба?

— Рыба-то? Рыба всякая... И караси на плесах есть, щука, ну, потом, эти... окунь, плотва, лещ... Еще линь. Знаешь линя? Как поросенок. То-олстый! Я сам первый раз поймал — рот разинул.

— А много можно поймать?

— Гм!.. Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так только... кошке.

— Что это свистит? — Володя остановился, поднял голову.

— Это? Это ути летят... Чирочки.

— Ага! Знаю... А это что?

— Дрозды звенят. На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?

— Никогда не ловил.

— У Мишки Каюнёнка сетка есть... Вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, жаднющие. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку ползут... Потешные они; не все, правда, но есть толковые... У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила...

Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянувшись низкорослый овес, впереди еле проглядывала темная полоса леса.

— Долго еще идти? — спрашивал Володя.

— Скоро... Вот рядом. Пошли ходчее, — каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, ложиной спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река.

Она была небольшая, густо поросла раkitником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими, мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла.

В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом сказал: «Здесь!» — и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закричали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянулись над рекой, пропадая в тумане. Яшка съежился и зашипел, как гусь. Володя облизнул пересохшие губы и прыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царилa в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и

тиной, вода была черная, ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, утрюмо и холодно.

— Тут знаешь глубина какая? — Яшка округлил глаза. — Тут и дна нету...

Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба.

— В этом бочаге у нас никто не купается...

— Почему? — слабым голосом спросил Володя.

— Засасывает... Как ноги опустил вниз, так всё... Во-да — как лед и вниз утягивает. Мишка Каюнёнок говорил — там осьминоги на дне лежат.

— Осьминоги только... в море, — неуверенно сказал Володя и еще отодвинулся.

— «В море»!.. Сам знаю! А Мишка видал! Пошел на рыбалку, идет мимо, глядит — из воды щуп и вот по берегу шарит... Ну? Мишка аж до самой деревни бег! Хотя, наверно, он врет, я его знаю, — несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряженно-страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показывал место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилица, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилицем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повел рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глупине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости.

— Ушла, а? Ушла... — пришепetyвал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилица, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклевки. Но поклевки не было, и даже всплесков не ста-

ло слышно. Рука у Яшки скоро устала, и он осторожно воткнул удилице в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул свое удилице.

Солнце, поднимаясь все выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах. Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил:

— А что, может рыба в другой бочаг уйти?

— Ясное дело! — злобно ответил Яшка. — Та сорвалась и всех распугала. А здоровая, верно, была... Я как дернул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянуло бы.

Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. «Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит раскорякой... Одинловишь или с настоящим рыбаком — только успевай таскать...» Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывая, он медленно вытащил удочку из земли и, держа ее на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лег набок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевел дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошел в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя едва заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсек и сразу подался вперед, стараясь выпрямить удилице. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую. Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повел руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом:

— Давай, давай, давай-ай!..

— Уйди! — просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами.

На мгновение рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холод-

ную глубину. Но Яшка, уперев комель удилицы в живот, все пятился и кричал:

— Врешь, не уйде-ошь!..

Наконец он подвел упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил ее на траву и сейчас же упал на нее животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось...

— Что у тебя? — присев на корточки, спрашивал он. — Покажи, что у тебя?

— Ле-ещ! — с упоением выговорил Яшка.

Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе свое счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съежился, ахнул:

— Удочка-то... Глянь-ка!

Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дергает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить ее. Удилище сильно согнулось. Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо...

— Держи! — крикнул Яшка.

Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: «Ааа!..» — и упал в воду.

— Дурак! — сипло закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. — Недотепа чертова!.. Рыбу распугал...

Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув на воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне, когда вялое тело не подчиняется сознанию: Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, все силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало, и получалось: «Уаа... Уа...»

«Тонет! — с ужасом подумал Яшка. — Утягивает!» Бросил комок земли, которым хотел ударить Володю, и, вытирая липкую руку о штаны, не отрывая глаз от него и чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от

воды. На ум ему сразу пришел рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог... Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг и кинулся к деревне, но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. Поблизости не было никого, и некому было крикнуть о помощи... Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечевки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что все как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была еще видна... Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась... Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстегивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке и с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него, по-прежнему выдавливая из себя нечеловеческие, страшные звуки: «Уаа... Уааа...» Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он попытался выставить из воды свое лицо, но Володя, дрожа мелкой дрожью, все карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда дикий, небывалый ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил Володю ногой в живот, вынырнул и сквозь бегущую с волос воду увидел яркий сплюснутый шар солнца. Чувствуя еще на себе тяжесть Володи, он оторвал, сбросил его с себя, замолотил по во-

де руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу.

И только ухватившись рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее поверхности. Из глубины весело выскочило несколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы.

Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно светилась паутина между цветами, и трясогозка сидела вверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и всё было так же, как и всегда, все дышало покоем и тишиной, и стояло над землей тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно, случилось небывалое — только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его...

Яшка моргнул, отпустил осоку, повел плечами под мокрой рубашкой, глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещенные солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину... Яшка опустился еще ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него.

Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за руку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно Володя последовал за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется удивительно чистым и сладким воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка положил Володю грудью на берег, лицом в траву, тяжело вылез сам и вытащил Воло-

дю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным...

Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и холодный. «Помер?» — с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватило сил, вверх и, побавив от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалились от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилив и упав духом, хотел бросить все и бежать куда глаза глядят, — в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он застонал, и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собираясь немедленно куда-то бежать, но снова повалился, снова зашелся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве.

Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал:

— Ну как? А? Ну как?..

Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом с заметным усилием, заикаясь, выговорил:

— Как я... то-нул...

Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Какюньок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет...

Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, с испугом и недоумением смотрел он на Яшку.

— Ты... что? — выдавил он из себя.

— Да-а... — выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами, — ты ут-о-уто-пать... а мне тебя спа-а... спаса-а-ать...

И он заревел еще отчаянней и громче.

Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, сердце его дрогнуло, он все вспомнил...

— Ка... как я тону-ул!.. — будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дергая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу... Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась все такой же черной.

Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. Запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.

1954



НА ПОЛУСТАНКЕ

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост на сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее,

бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невывыказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

— Вот она, жизнь-то как повернулась, а? — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. — Теперь мое дело — порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чувешь?

— А я как же? — тихо спросила девушка.

— Ты-то? — Парень покосился на нее, кашлянул. — Говорено было. Дай огляжусь — приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется — дай Бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу...

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда: унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

— Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

— Девятый. А что?



— Ну-ну... — пробормотал начальник и снова зевнул. — Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода — сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

— А ну хватит! — проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. — Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

— Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

— А ну брось! — сказал парень. — Сказано — приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

— Вон девятый! — быстро сказала девушка. — Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

— Девушка, это какая станция?

— Лунданка, — сипло сказал проводник.

— Базар есть? — спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.

— Нету базара, — опять отозвался проводник. — Две минуты стоим.

— Как же так? — изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

— Закройте окно! — попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

— Ну, прощай, что ли, — тяжело проговорил он и сунил руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо.

— Скучно мне будет, — шептала она. — Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

— Сказано уже, — неохотно и испуганно говорил парень. — Оботри слезы-то... Ну!

— Да я ничего, — шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьи стирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. — Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

— Я помню, мне что! — хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

— А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

— Сказано... — буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

— Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... — сказал проводник и первым полез торопливо на площадку.

Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

— Вася! — закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров; те сразу отвернулись. — Вася! Поцелуй же меня...

— Мне что... — пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку.

Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. За скрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

— Слышь... Не приеду я больше! Слышь...

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела, задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели...

— Берегись! — раздался вдруг дикий крик над ее головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно по светлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завывала по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

— Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

— Уехал? — спросил он. — Н-да... Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевков ногой.

— Скоро и я уеду... — забормотал он. — На юг подам-ся. Тут скука, дожди... А там, на юге-то, теплынь! Эти — как их? — кипарисы...

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботики, спросил негромко и равнодушно:

— Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то — сволочь. Факт!

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестящих рельсов, ни бурой никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, переверну-

ла сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела не шевелясь, глядя вверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

1954



НОЧЬ

Мне нужно было попасть на утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте.

Я шел по мягкой пыльной дороге, спускался в овраги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле... Никто не догонял меня, никто не попадался навстречу — я был один в ночи.

Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлея в темноте; склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку. Воздух был тепел и чист; сильно мерцали звезды; пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов; за полями, за рекой, за лесными далями слабо полыхали зарницы.

Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твердую, мозолистую тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Запахло речной сыростью.

тью, глиной, потянуло влажным холодом. Плывущие в темноте бревна изредка сталкивались, и тогда раздавался глухой слабый звук, будто кто-то тихонько стучал обухом топора по дереву. Далеко впереди, на другой стороне реки, яркой точкой горел костер; иногда он пропадал за деревьями, потом снова появлялся, и узкая, прерывистая полоска света тянулась от него по воде.

Хорошо думается в такие минуты! Вспоминается вдруг далекое и забытое, обступают тесным кругом когда-то знакомые и родные лица, мечты сладко теснят грудь, и мало-помалу начинает казаться, что все это уже было когда-то... Будто проходил уже прохладными от сырости оврагами и сухими борками, и река темнела, с плеском обрывались в нее куски подмытого берега, тихонько стучались плывущие по воде бревна, и появлялись и исчезали черные стога сена, и деревья с искривленными в немой борьбе ветвями, и зарастающие тиной озерца с черными окнами... Только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни.

Я шел уже часа полтора, а до озера было еще далеко. Ночью тяжело идти: надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи, устаешь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушел ночью из дому, и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донесся тонкий, дрожащий звук, похожий на песню. Я остановился, прислушался... Да, это была песня! Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное: «Оооо... Ааааоо...», но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шагу. Песня не приближалась и не удалялась, а все так же тянулась тонкой, запутанной нитью. «Кто это? — думал я. — Сплавщик? Рыбак? Охотник? А может быть, как и я, идет ночью, идет впереди меня и, чтобы не было скучно, поет песню?»

Я пошел быстрее, выдрался из елового колка, прошел осиновым подлеском и наконец внизу, в небольшом распадке, окруженном со всех сторон густым лесом, увидел костер. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел.

Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещал валяжником. Человек у костра замолчал, живо повернул-

ся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загораживаясь ладонью от костра.

— Кто тут? — вполголоса испуганно спросил он.

— Охотник, — ответил я, подходя к костру. — Не бойтесь...

— А я и не боюсь. — Он сделал равнодушное лицо. — Мне что! Охотник так охотник...

Человек, на чью песню я так спешил, оказался кривоногим парнем лет шестнадцати. Он был некрасив, с худой кадыкастой шеей и большими оттопыренными ушами. Одет он был в телогрейку, замасленные ватные брюки и кирзовые сапоги. На голове, будто приклеенная, сидела маленькая кепочка с коротким козырьком.

Несколько секунд он пристально разглядывал меня, потом с видимым любопытством спросил:

— За утями идете?

— Да вот хочу на озеро пройти, — сказал я, снимая ружье.

— Это на какое же?

Я объяснил.

— Ну, тут близко! — успокоил он меня и, повернув голову к реке, прислушался. — Это не вы сейчас кричали? — спросил он немного погодя.

— Нет... А что?

— Не знаю, кричал кто-то. Крикнет, помолчит, опять крикнет... Я хотел было идти, да Лешка забоялся, брат мой...

Он снова замолчал, и я услышал частые легкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда, к костру.

— Семен, Семен! — послышался испуганный и восторженный мальчишеский голос.

Из темноты на свет костра выскочил мальчик лет восьми в большой, не по росту, телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семена.

— Ну что? — лениво спросил Семен.

— Ой, Семен! Сидит кто-то! — Мальчик снова посмотрел на меня и перевел дух. — На двух крайних нету, а на средней сидит! Я рукой взялся, а там — ходит!

— Врешь!

— Большая рыбина ходит! — И он сделал рукой волнообразное движение, показывая, как «ходит».

Семен вскочил, подтянул штаны и, пробормотав: «Я сейчас!», пропал в темноте. Мальчик некоторое время не моргая смотрел на меня, потом, не отводя от меня взгляда, ступил назад раз, ступил другой, повернулся и тоже бросился в темноту, только ноги затопотали.

Скоро я услышал странную возню, приглушенные голоса, плеск воды; затем все стихло, раздался шаг, и ребята вернулись к костру. Семен нес на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом.

Запихнув рыбу в полотняную сумку, Семен сел возле меня и, улыбнувшись, сказал:

— Вот так и ловим. Три штуки уже поймали.

— Одну я вытащил, — прошептал мальчик и, потупившись, стал теревить пуговицу на телогрейке.

— Н-но? — веско произнес Семен и зловеще замолчал.

Мальчик засопел и еще больше смутился.

— Брат мой, — отрекомендовал мне его Семен, — Лешка. Вы не глядите, что он тихий, — притворяется...

Леша пробубнил себе что-то под нос.

— Что? — Семен широко открыл глаза. — Что ты сказал?

— Ничего... — испугался Леша.

— Смотри у меня! — Семен исподлобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо; блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись.

Леша тоже фыркнул, но тотчас спохватился и еще ниже опустил голову. Семен полез в карман, немного помедлил, вытащил наконец измятую пачку папирос, закурил и предложил мне. Я отказался.

— Не курите, значит? — сожалеюще сказал Семен и покосился на Лешу.

Потом облокотился, сладко зевнул, поежился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось и приняло то теплое, неопределенное и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, но очень хорошем. Костер потухал, угли, остывая, подергивались красноватым пеплом; кругом стояла глухая ночная тишина, только наверху, где-то в кустах, позванивая боталом, бродила лошадь.

Леша внезапно поднял голову и прислушался.

— Идет ктой-то, — боязливо выговорил он и пересел ближе к Семену.

— Ерунда! — сказал Семен и покосился на мое ружье.

Несколько секунд прошло в безмолвии, затем явственно послышался хруст валежника. Семен загадочно посмотрел на меня и напряженно усмехнулся.

— Медведь, наверно, — прошептал Леша и еще ближе подвинулся к Семену. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными.

— Полуношничаем, рыбаки? — неожиданно громко раздался хрипловатый голос, и к костру, как-то сразу обозначившись, подошел пожилой человек с ружьем.

Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал, огорченно побряхтывая, разглядывать оторвавшуюся подметку.

— Ах, будь ты неладна! — бормотал он. — Вот оказия, а? Ну что, угадал я? Рыбачите? — снова обратился он к нам и поднял голову. — Э-э, да тут знакомые! — Он улыбнулся ребятам. — Что же, много наловили?

Семен воровато бросил папироску в костер и строго посмотрел на Лешу. Тот фыркнул.

— Маловато, Петр Андреич, — смущенно заулыбался Семен. — Разве вот под утро что будет.

— А ну покажь, покажь...

Семен с готовностью вывалил рыбу из сумки.

— А, стерлядки, — с удовольствием выговорил Петр Андреевич. — Ну и хорошо. Мелковаты только.

— Раз на раз не приходится, Петр Андреич.

— А конечно, — охотно согласился Петр Андреевич и задумался.

Глядя в огонь, будто уйдя от нас куда-то, он машинально полез в карман, вынул папиросы, закурил, бросил спичку в костер и все так же бездумно проследил, как она горела маленьким ярким пламенем и, погаснув, растаяла, слилась с розовым пеплом.

Был он не стар, но с глубокими морщинами на щеках; губы тонкие, нос длинный и тоже тонкий, лоб шишковатый, узкий. Вообще лицо его производило впечатление чего-то жесткого, напряженного. Ружье у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом; из сапога с оторвавшейся подметкой выглядывала портянка...

— А вы что, или на Суглинки идете? — спросил вдруг Семен.

— А? — вздрогнул Петр Андреевич. — На Суглинки? Почто на Суглинки? Бреду дальше...

— А то наш механик давеча полную сумку приволок оттуда.

— Двух щук поймал на дорожку, — вставил Леша. — Бо-ольшие щуки.

— Это Попов-то? — спросил Петр Андреевич. — Ну, ему хорошо — он с собакой. Нет, я дойду до Овшанки, а там полеее, аккурат у реки, озерцо есть, маленькое озерцо-то...

— Около Овшанки? — задумчиво переспросил Семен. — Нет, в тех краях не был я... Не приходилось. Я все больше по этому берегу места знаю.

Снова помолчали. Петр Андреевич переступал с ноги на ногу, негромко покашливал. Леша свернулся калачиком возле брата. Ему было очень хорошо, это проглядывало решительно во всем: в уютной позе, в блеске глаз, частой улыбке...

— Не знаешь, перевозчик у себя? — спросил Петр Андреевич.

— У себя. Давеча проплыл вверх. С гармошкой плыли... Гуляют они. Сын женился. Мотьку Медуницу из второго цеха взял.

— Это рябенная такая?

— Она. Чего он хорошего в ней нашел? Я бы не женился на такой...

— Ну, ты еще в этих делах не понимаешь, — усмехнулся Петр Андреевич и повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гулянье. — Так гуляет, говоришь, перевозчик-то? А он перевезет ли меня? — обеспокоился вдруг он. — Не повезет, пожалуй, а? А то — повезет да и утопит? Пьяные, наверно, все...

Семен тоже повернулся в сторону перевоза.

— Кто его знает, — сказал он неуверенно. — Да вы лодку-то сами отвяжите да и переедете. У него ведь их три, лодки-то.

— А и верно! — Петр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог. — А тут еще тоже холера! Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли веревочки? Иду, понимаешь, темень... О корень споткнулся, будь ты неладна, — только тряхнуло!

Леша вытащил из-за пазухи кусочек бечевки. Петр Андреевич взял его, подергал и стал перевязывать голову сапога.

— Вы на что ловите-то? — спросил он.

— На подонник, — быстро ответил Семен. — На миногу.

— На миногу? Это хорошо, на миногу, она ее любит, стерлядка-то. А тут я иду, смотрю — на той стороне волки воют. Не слышали? Подрос, видно, молодняк-то.

— У наших соседей, — оживился Леша, — волк козу утащил. Прямо днем! Коза-то старая была, худая. Как он ее схватил, она мемекнула — и готова! А он через огород — да полем, полем в лес... Дядя Федор с топором выскочил, глянул да как топором в стенку сада нет! Так и сейчас в стене торчит, никто вынуть не может...

— Это верно, было такое дело, — подтвердил Семен. — А то еще было. Иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер, смеркалось... Так только, немного на закате желтеет, да дорога видна хорошо. И вот прошел я лесок, что за кладбищем, знаете? И будто кто меня толкнул: оборотился я и сперва не разобрал, а после гляжу — возле кустов будто темнеет что и глаза горят, ровно гнилушки. Трое их, значит, сидят и на меня глядят, а у меня ноги сразу встали, как другой раз во сне бывает: хотел бы бежать, да не могу, и потом ошибло... Думал, конец, но обошлось, не тронули.

— Летом они к человеку смирные, не трогают, — уверенно сказал Петр Андреевич.

— Дядя Петь... — начал Леша, взглянул на нас и улыбнулся. — А ведь мы на вас думали — медведь! Идет похрястывает...

— Кто думал-то? — Семен пожал плечом. — Сам думал, так на других не вали.

— Нет, ребятки, — улыбнулся Петр Андреевич, — медведь на огонь не полезет. Хотя и так рассудить: кто тут по ночам бродит? Только медведи да охотники... То же охотник? — обратился он ко мне. — Может, места здешние незнакомы вам, так пойдемте со мной. Не хотите? Ну-ну... Конечно, всякий ко своему месту стремится.

Петр Андреевич посмотрел на звезды и протянул широкую темную ладонь Семену:

— Прощай покуда. Побреду, а то скоро светать начнет... Да! Ведь я слышал тебя прошлый раз в клубе-то... Отец небось гордится? Молодец!

Он похлопал Семена по плечу, кивнул нам с Лешей и пошел во тьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семен сидел, низко опустив голову, ковырял мозоли на ладони и хмыкал. Уши его потемнели.

Леша вдруг потянулся, выгибаясь всем телом, зевнул и потер глаза.

— Спать охота! — заявил он.

— Ну и спи. — Семен почесал брата за ухом. — Спи.

— Да, — Леша недоверчиво улыбнулся, — а сам утром пойдешь проверять и не разбудишь.

— Да разбужу, вот чудашка!

— Дай честное комсомольское!

Семен взглянул на брата, снисходительно улыбнулся и лег на спину. Было примерно около двух часов, тьма стала как будто еще плотнее, хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звезды, на едва видные ближние деревья, слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая, птица ли перепорхнула, шишка ли упала или так что померещилось...

— Лешка! — встрепенувшись, сказал Семен. — Тащи дров!

Леша вскочил, исчез во тьме, громко затрещал сучьями и скоро принес целую охапку сушняка. Отобрав сучья поменьше, он навалил их на костер, сел на корточки и, выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки, тучей поднялся пепел.

— Гляди лопнешь, — серьезно заметил Семен.

Леша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с неистовой силой. Наконец сучья все разом ярко вспыхнули, затрещали, вверх полетели крупные искры. Стало горячо, и мы, жмурясь, отодвинулись от огня.

Я полюбопытствовал, за что хвалил Семена Петр Андреевич. Семен смутился и опять принялся за свою ладонь.

— Да так, вообще... — пробормотал он.

— Он музыку сочиняет, — охотно сказал Леша. — У нас в школе даже два раза играл и в клубе...

— Ну? — повернулся к нему Семен. — Дальше что?

— Ничего...

— Тогда помалкивай!

Семен кинул на меня быстрый испытующий взгляд и нехотя признался:

— Вообще-то, конечно, любитель я этого дела.

— Ему батя баян купил, — опять не вытерпел Леша. — Он знаете как на баяне играет! Он что хочешь вам сыграет!

— Это верно, — подтвердил Семен и вздохнул. — Верно, играю. А только у меня мечта есть, такая мечта! Как песня раскрывается? Ведь песню-то, ее можно всяко повернуть, и сыграть ее можно, как никто не играл. Правильно я говорю? Я как играю? Беру мелодию и прибавляю к ней еще голос, и вот песня уже сама по себе, а голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, еще один голос прибавить, и тогда уж получится совсем иная музыка. Но и тут не все. Это только правая рука, а в левой — там гармония. Аккорды, значит. Возьмешь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух, то чистоты настоящей и вкуса нету. Нету истинной чистоты! А песня, особо ежели долгая, она должна свой запах иметь, вот как река или лес. Я вот беру в клубе сборники для баяна. Ну, сыграю и вижу: не то! Схватит меня за сердце, не могу я, ну совсем не могу, — и начинаю по-своему переключивать...

Он вдруг подозрительно взгляделся на меня, стараясь угадать, не смеюсь ли я над ним. И, успокоенный, продолжал, часто моргая, шевеля пальцами темных рук:

— У меня мечта есть: сочинить одну вещь, чтобы вот такую ночь изобразить. А что? Лежу ночью у костра, и вот у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так: сперва чтобы скрипки вступили тонко-тонко. И это была бы вроде как тишина. А потом еще и скрипки тянут, а уже заиграет этот... английский рожок, таким звуком — хриповатым. Заиграет он такую мелодию, что вот закрой глаза и лети над землей куда хочешь, а под тобой всё озера, реки, города, и везде тихо, темно. Рожок играет, а виолончели ему другой голос подадут. Поют они на низких струнах, говорят, вроде как сосны гудят, а скрипки всё свое тянут и тянут тихонько. Тут и другие инструменты вступают и все вместе играют громче и громче: ту-ру-рум! Тум-тум, та-та-та... И заиграет весь оркестр необыкновенную му-

зыку! Главное, чтоб там инструменты были, которые как колокольцы звенят. Ну, а после надо понемногу инструменты убирать, и будет все тише и тише, и окончат опять же одни скрипки. Долго будут тянуть, пока совсем не замрут...

Семен смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы.

— А еще, — продолжал он, — надо будет колокол добавить, чтобы он звонил равномерно. Только потихоньку. А как луна из-за леса выходит, ведь это можно изобразить?.. А назову я ее «Ночь». Или нет! Надо, чтобы покрасивше было... Вот лучше: «Ночная сказка» или «Ночная звезда»... Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну, звезды там или туман над рекой. А в музыке я все могу. На сердце щемит у меня, лягу спать — не сплю, а заснул — часто такая музыка играет! Проснусь — все хочу вспомнить, и не вспомнишь... Учиться надо, это уж обязательно! Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, зазвенит лебедка, или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: «до» там или, может, «фа-диез»...

Семен вдруг замолчал, смущенно улыбнулся и стал поправлять костер. Непожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе, родилось, нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоящую звездную тишину, пронеслось по реке.

— Эге-геее!.. — донесся к нам низкий могучий вопль.

Мы сразу повернулись к реке и первое мгновение недоуменно прислушивались. Тишина... И опять незримо пролетел мощный крик:

— Эге-геее!..

— Сплавщики голос пробуют! — облегченно засмеялся Семен. — Правда здорово? По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывет, так за версту слышать, как весла скрипят. А то в другой раз такое послышится, что и не поймешь, что такое. Вроде крикнет кто или вздохнет, или вот так тихонько: «Тиуу, тиуу, тиуу...»

Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот и никак не мог догадаться, что бы это значило.

— Лешка боится, а я нет, — улыбнулся Семен. — Скучно, правда, одному, а так — хорошо!

— Никого я не боюсь! — сказал вдруг громко Леша и прищурился.

— Не боишься? А ну-ка, сходи сейчас на Хлыстово болото, принеси мне оттуда метелок. Ну? Сходи, сходи!

Леша повел ртом, оглянулся назад в темноту и засмеялся. Семен помолчал немного.

— Народ здесь сильный ужасно, — снова начал он. — Есть ребята силы такой, что хоть кого хочешь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал, а он просто так: на берег выйдет и орет, слушает, как его голос по лесам раздается.

— Дядь, а дядь! Стрельните! — попросил внезапно Леша и жадно посмотрел на ружье.

— А ты сам стрельни, — ответил я, подавая ему ружье.

— Баловство! — недовольно сказал Семен. — Только патрону перевод.

Но в глазах его зажглось такое же, как и у Леша, острое любопытство. Леша огляделся, увидел высокий осиновый пенек невдалеке и через секунду уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку.

— Погоди! — строго остановил его Семен. — Сейчас огонь раздуем, виднее будет.

Он навалил на костер хворосту. Пламя померкло, пополз густой розовый дым, потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх, наконец сразу занялась вся куча.

— Давай! — скомандовал Семен и, отгородившись от огня ладонью, уставился на пенек с шапкой.

Леша стал целиться. Целился он страшно долго, шмыгал носом, переводил дыхание, смотрел на курок, на палец... Ожидание выстрела становилось тягостным, и я заметил, как напряглась у Семена рука, а глаза прищурились, будто он смотрел на яркий свет.

— Да скоро ты... — не выдержал он.

Но в этот момент ружье в руках Леша подбросило вверх, сверкнул длинный голубоватый сноп пламени, оглушительно бахнул выстрел, шапка исчезла, а эхо пошло перекатами по реке и лесам. Наверху испуганно всхрапнула лошадь, зазвенело ботало, затрепали кусты. Леша бросил еще дымившееся ружье и стремительно кинулся в темноту.

— Здорово! — восхитился Семен и потянулся навстречу Леше, возвращавшемуся с шапкой. — Вот это бьет!

Шапка была торжественно исследована при свете костра. В нее попало несколько крупных дробинок, и вата ключьями торчала из подкладки.

Семен задумался.

— Знаете что? — обратился он ко мне. — Хотите, поведу я вас на такое место, в каком отродясь никакие охотники не бывали? Возьму отгул, у дяди ружье выпрошу... Эх и закатимся мы с вами дня на два! Тайное место, птица там непуганая. Идешь по лесу: направо — рябчики, тетери, глухари, налево — озеро, а на том озере гуси и крякуши открыто плавают и на выстрел допускают близко, а после выстрела никуда с озера не улетают, только отлетывают малость. Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Никого там нету: ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смирные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растет такая, что ежели выйти на гарь да поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растет, и землянику ту никто не берет, и вся она черная, переспелая и такая сладкая — слаще сахара! Войдешь в смородиновые кусты — такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идешь, то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только — тых, тых, тых! — взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Еще там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьем. А еще там под косогором, ежели через завалы переберешься, овраг перелезешь да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему, и сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать, лечебная...

Леша тем временем все крепился, крепился, не выдержал, жалко скривил лицо, шмыгнув носом и затянул отчаянно:

— Семе-ен...

— Ну? — Семен с удивлением посмотрел на брата.

— Семен, возьми меня-а... — тянул Леша, и было видно, что страдает он невыносимо.

— Как — взять? — с сомнением спросил меня Семен.

Большие мокрые глаза Леша тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно.

— Взять? — снова с сомнением повторил Семен и критически осмотрел Лешу.

Тот покривился и крепко сжал задрожавшие губы.

— Возьмем! — решил я наконец.

Леша тоненько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза.

— Ага! — торжествуя закричал он. — А вот и пойду, а вот и пойду!

И он, победоносно глядя на Семена, стал приплясывать возле костра, на разные лады повторяя: «Что? А вот и пойду! Что? А вот и пойду!»

Я оглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отличалось от зеленого. Пала роса, и воздух посвежел. Деревья определились. Нет, света еще не было, но с каждой минутой все виднее становились отдельные кусты, ветки, елки, даже шишки. Ночь кончилась, наступал самый ранний полурассвет, то время утра, когда петухи в деревне, хрипло прокричав свое «ку-ка-реку», еще крепче засыпают.

Мне пора было идти. Я взял ружье и попрощался с ребятами.

Едва я отошел от костра, как сырой, холодный воздух охватил меня со всех сторон и сапоги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белесой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету, на восток, на встречу рассвету.

Я успел уже порядочно отойти — взобрался на гриву, отыскал тропу и зашагал к озеру, — когда меня опять настигла песня Семена. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня эта прекрасна и поэтична, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнувших звезд, великой тишиной и ароматом увядающего лета.

«Аааа... ооооаа...» — дрожал далекий человеческий голос, а внизу подо мной сонно журчала река, тихонько стукались друг о друга плывущие по воде бревна, и мне казалось почему-то, что на реке, скрываясь в полупрозрачных завитках тумана, тихо сидит в лодке мудрый человек и стучит обухом топора по плывущим мимо бревнам, стараясь по звуку угадать их крепость и чистоту.

1955



НЕКРАСИВАЯ

Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висели неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот вприсядку — шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, оттого, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют, и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» — и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и черными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озираясь кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее, темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось как было...

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и то-

пот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал. «Ну, довольно! — говорила себе Соня, крепко закрывая глаза. — Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!» И она хотела идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

— Что такое? — громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало; чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.

— А! — пьяно сказал он. — Это вы? А я... на огороде... был. — Он качнулся и прижался к ней. — На свадьбу, сволочь, пригласил! — с усилием выговорил он. — А! Убью! Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

— Вам плохо? — испуганно спросила Соня. — Хотите воды?

— Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

— Вам легче теперь? — тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

— Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

— Я редко хожу на гулянки.

— А! Вы при школе живете?

— При школе.

— Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

— Вы чего плакали-то? — спросил он, вернувшись. — Обидел кто?

У Сони благодарно забилося сердце. Она опустила голову.

— Нет, никто не обидел...

— А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю!

Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

— Послушайте, вы совсем пьяный! — с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

— Ну да! — Николай тер себе рукою лицо. — Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, силло дышал, держал Соню за руку.

— Ну расскажите же что-нибудь, — попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.

— Чего там рассказывать?... — хрипло сказал он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

— Пустите! — шептала она, вырываясь. — Пустите!

— Тихо! — говорил он шепотом, толкал ее в темные сени. — Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал ее к стене.

— Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

— Любишь меня? — бормотал Николай. — У, собака!

— Не надо, Коля, не надо! — сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее.

Отдышавшись, он покашливал немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

— Ну ладно... — сказал он. — Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?

— Когда? — спросила шепотом Соня, вся дрожа.

— Часов в семь. Ладно?

— Приду...

— Ага... — Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурок, долго притаптывал его каблуком. — Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы. «Боже мой, какая я страшная! — подумала она и вздрогнула. — Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

— Это любовь? — спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вчерашнее темно-синее платье, завila немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она



идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шаг и не могла. Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. За-масленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Со-ню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исслеженная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождав-шись ее. Она прибавила шаг, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Ни-кого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она не-много передохнула, потом сняла и вытерла травой запы-ленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагретой за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге еха-ли на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Не-сколько раз он насмешливо обернулся. «Он догадал-ся! — со стыдом думала Соня. — Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Ле-пестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки: «Придет, не при-дет...» Вышло — не придет. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выхо-дила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинута на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным внимани-ем разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и сившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку:

— Привет...

— Здравствуйте, — ответила Соня, не смея поднять глаз.

— Давно ждете?

— Нет...

— Гм... Ну, зайдем в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к до-роге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протя-нулась через все поле.

— Благополучно вчера дошли? — спросила Соня, бы-стро взглядывая на Николая и сочувственно, понимаю-ще улыбаясь.

— Нормально... — Николай зевнул и снял пиджак. — Не выспался только.

— Вы вчера были нехороший, — мягко сказала Соня.

— Чего еще! — Николай равнодушно обнял Соню, при-тянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

— Скоро стемнеет, — заметила Соня, покорно прини-кая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

— Как попозднее, пойдем в горюх, а? — Николай мот-нул головой куда-то вправо. — Там шалаш есть. Пой-дешь?

— Не надо об этом, Коля, — тихо попросила Соня и вздохнула.

— Эх, — воскликнул вдруг Николай. — Спать охота! Ну-ка дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, поло-жил голову Соне на колени. Полежав немного с закры-тыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

— Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

— Конституция такая, — насильно улыбаясь, сказала она.

— Ну, конституция! Наверно, больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела — как ни корми, все одни мосляки.

Соне вдруг стало все безразлично, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

— Почему вы такой грубый? — вдруг низко сказала она. — Или вы думаете, что со мной все можно? — Она резко отвернулась и стала медленно краснеть. — Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытер-ла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя в по-ле, шевельнула коленями.

— И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слы-шите! Оставьте меня!

Николай смущенно сел.

— Ну, ну... — забормотал он. — Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел — гад буду! Это по работе — привыкаешь.

— Нет, не по работе, — уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. — А потому что... — Она теби платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно. — Потому, что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскреб в затылке и ничего не сказал.

— Что это вы ругались вчера? — спросила Соня после долгого молчания.

— Так... — Николай нахмурился. — У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видали вчера невесту? Гулял я с ней...

— Вас, наверное, многие девушки любят, — сказала Соня.

— А! — Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. — Знаю я ихнюю любовь!

— Зачем вы так, Коля? — быстро сказала Соня. — Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

— Вы не верите? — упавшим голосом спросила Соня.

— В чего это?

— В чистоту человека.

Николай засмеялся.

— Ох и любят же бабы воду мутить! Чистота... — Он поворочался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугунной силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, все еще стыдась и краснея.

— Коля... Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, — сказала она еле слышно.

— Обожди! — Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о ее колени.

По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

— Эй! — крикнул Николай.

— Зачем вы, Коля! — шепнула Соня, пряча лицо.

Шедшие остановились.

— Куда это? — опять крикнул Николай.

— На гулянку... А кто это? Никак, Николай?

— Он самый. Где гулянка-то?

— В Сосновке.

На дороге закурили и, подсвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

— Погодите! — крикнул он вдруг. — И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накиннул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне:

— Ну, пока! Еще когда повидаемся... — Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцей стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: топ-топ-топ...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв вверх лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла — думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звезды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копешки льна, то светлело неубранное поле ржи.

— У-у! — сказала Соня все тем же низким, страшным звуком. — У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора.

Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина, и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, ту-

пой дурак — какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте — одинокая под полыхающими, падающими звездами.

Скоро показалась темная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «А ну! Попробуй укуси!» — задыхаясь от мстительной отваги, подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.

1956



ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНое

1

— Лиля, — говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку,жимаю и отпускаю. Я бормочу при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно назвать свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» — с восторгом думаю я. Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник, и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, не танцевать — танцевать я не умею, — я люблю слушать хороший джаз. Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник.

После того как она назвала свое имя, наступает долгое молчание. Я знаю, что она ждет от меня чего-то. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое, может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы! Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Чудесное имя, произнесенное грудным голосом! И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыки больше нет, и мне не за что спрятаться. Мой приятель отстает со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те идут еще медленней. Я знаю, он делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны — оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно, сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

— Вы любите Москву? — вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго.

Я вздрагиваю от ее глубокого голоса. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, переводя дух. Наконец собираюсь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я тоже люблю... Потом я снова умолкаю.

Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, я могу уйти домой, я тут рядом живу, и вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слу-

шаем певицу, но ее плохо слышно: возле нас много народу и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фойе, плохо слушают оркестр. Слушают и аплодируют только передние, а сзади едят мороженое и конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Я никогда раньше не обращал внимания на них, но теперь я очень заинтересован. Я думаю о художниках, которые их нарисовали. Видимо, не зря повесили эти картины в фойе. Очень хорошо, что они висят тут.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

Нет, я больше не могу стоять с ней! Почему она так меня рассматривает?

— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но когда в комнате много дыма, когда воздух совсем темный от дыма, почему-то не хочется курить.

Я осматриваюсь: стоят и сидят много людей. Некоторые спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно, если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут. Нет, я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике. А Лиля жестокая, решаю я, у нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, поэтому я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец звонок. Я очень медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу. На улицах нет почти никого. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, уже не все окна горят, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки больше не слышно оттуда. Некоторое время мы стоим совершенно молча. Лилия странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы... Наконец я очень небрежно, как бы между прочим, говорю, что нам нужно еще встретиться завтра. Я очень рад, что во дворе темно и она не видит моих пылающих ушей.

Она согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.

Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощанье. Она сама протягивает мне узкую руку, белющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.

2

На другой день я прихожу к ней засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они уже приехали? Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам на улице. Я заглядываю в окно и откашливаюсь.

— Лилия, вы дома? — громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это прямо замечательно, что у меня не прервался голос!

Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.

— Идите скорей! — зовет меня Лилия. Но мне невыносимо идти двором, я никак не могу идти двором...

— Я к вам влезу через окно! — решительно говорю я и вспрыгиваю на окно. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасываю одну ногу через подоконник и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на окне: одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилию.

— Ну, лезьте же! — нетерпеливо говорит Лилия. Брови ее сходятся, и щеки все больше краснеют.

— Не люблю летом торчать в комнатах... — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Лучше я подожду вас на улице.

Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они смеются теперь надо мной! Я знаю, девочки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем! Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом я поворачиваюсь и вдруг вижу Лилию. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лилия начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно иногда читать с конца, тогда выходят смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее. Она очень красивая и умная.

Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару! Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга. Примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.

Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыс-

лях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, мы пере-
скакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем
говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас
еще много времени, впереди длинный, длинный вечер,
и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоми-
нать все потом, ночью.

Вдруг я замечаю, что у нее расстегнулось платье. У
нее чудное платье, я таких ни у кого не видел — от воро-
та до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок
теперь расстегнулись, а она этого не замечает. Но не мо-
жет же она ходить по улицам в расстегнутом платье!
Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и за-
стегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застег-
нуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было
бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя сделать, это про-
сто невозможно. Тогда я отворачиваюсь, выжидаю пау-
зу в ее разговоре и говорю, чтобы она застегнулась. Она
сразу замолкает. А я смотрю на большую надпись, тор-
чащую на крыше. Написано, что каждый может выиг-
рать сто тысяч. Очень оптимистическая надпись. Вот бы
нам выиграть когда-нибудь!

Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вооб-
ще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это
очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее.
Платье застегнуто, щеки у нее пламенеют, глаза дела-
ются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня,
смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее
что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг
к другу.

Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и хо-
дим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к
Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к
Трубной, оттуда по Неглинке идем к Большому театру,
потом к Каменному мосту... Я готов ходить бесконечно. Я
только спрашиваю у нее, не устала ли она. Нет, она не ус-
тала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах. Небо,
дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится
больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах,
тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой ска-
мейке по одной паре. Я смотрю на них с завистью и думаю,
будем ли и мы с Лилей сидеть когда-нибудь так.

На улицах совсем нет людей, только милиционеры.
Они все смотрят на нас. Некоторые выразительно пока-



шливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лилия наклоняет голову и ускоряет шаг. А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую.

Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно. Мы понижаем наши голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется, нас кто-то подслушивает.

Домой я прихожу в три часа. Только сейчас я чувствую, как гудят ноги. Как же тогда устала она! Я зажигаю настольную лампу и начинаю читать. Я читаю «Замок Броуди», который дала мне Лилия. Это замечательная книга, я читаю ее и все время вижу почему-то лицо Лилии. Иногда я закрываю глаза и слышу ее нежный грудной голос. Между страниц мне попадает длинный темный волос. Это ее волос — ведь она читала «Замок Броуди». Почему я решил, что у нее жесткие волосы? Это очень мягкий, шелковистый волос. Я осторожно сворачиваю его и кладу в том энциклопедии. Потом я спрячу его лучше.

Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из наших окон видны крыши многих домов. А вдаль, там, откуда летом встает солнце, видна звезда кремлевской башни. Одна только звезда видна. Я люблю подолгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно. Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.

3

А через неделю мы с матерью уезжаем на Север. Я давно мечтал об этой поездке — с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла.

Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса, и весь переполнен радостью первооткрывателя. У меня есть ружье — мне купили его, когда я окончил девять классов, — и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Иногда я устаю. Тогда я сажусь и смотрю на широкую реку, на низкое осеннее небо. Август. И на Севере

очень часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду и в солнце я выхожу рано утром из дому и иду в лес. Там я охочусь и собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу! Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть, прямо вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто греются или спят. И мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все как сквозь сон.

Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма, и она понимает меня, хотя женщины вообще не любят и не понимают охоты.

Иногда я возвращаюсь домой ночью. Я иду полем, и мне немного страшно. Со мной заряженное ружье, но все-таки я часто оглядываюсь. Очень темно. Только в небе, если долго смотреть, можно заметить слабый свет. Но на земле очень темно. Надо мной кругами беззвучно летают совы. Я вижу их, но, сколько бы я ни прислушивался, мне не удастся услышать взмахов их крыльев. Однажды я выстрелил. Сова глухо ударилась о межу и долго потом щелкала во тьме клювом...

Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив дома чемоданы, я иду к Лиле. Вечер, ее окна светятся — значит, она дома. Я подхожу к окну, пробираясь через леса — ее дом ремонтируют, — и смотрю сквозь занавеску.

Она сидит за столом одна, у настольной лампы, и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, облакачивается, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные

глаза! Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной. Этот сосновый запах доносится ко мне, как далекий отзвук моих охот, как воспоминание обо всем, что я оставил на Севере. За моей спиной слышны шаги прохожих. Люди идут куда-то, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и свои любви, они живут каждый своей жизнью. Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю: как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая...

— Лиля! — зову я негромко.

Она вздрагивает, брови ее поднимаются. Потом она встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза.

— Алеша! — говорит она медленно. На щеках ее появляются едва заметные ямочки. — Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.

Я выбираюсь из лесов, перехожу на другую сторону и смотрю на ее окна. Вот гаснет свет, проходит короткая минута, и в черной дыре ворот показывается фигура Лили. Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу. Она хватает мои руки и долго держит их в своих руках. Мне кажется, она загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.

— Пойдем гулять! — говорит наконец она. И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь — так вдруг ослабли мои ноги. Даже после самых утомительных охот они так не дрожали.

Но мне неудобно идти с ней. Я только на минутку зашел повидать ее. Я так плохо одет. Я прямо с дороги, на мне лыжный костюм, сбитые ботинки. Костюм прожжен в нескольких местах: это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, очень часто прожигаешь куртку и брюки. Нет, я никак не могу идти с ней.

— Какая чепуха! — беспечно говорит она и тянет меня за руку. Ей нужно со мной поговорить. Она совсем одна, подружки еще не приехали, родители на даче, она

страшно скучает и все время ждала меня. При чем здесь костюм? И потом, почему я не писал? Мне, наверное, было приятно, что другие мучаются?

И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. С шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят, автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. Потом дождь перестает, мы выходим, смеемся, перепрыгиваем через лужи. Но дождь начинается с новой силой, и мы снова прячемся. На ее волосах блестят капли дождя. Но еще сильнее блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.

— Ты вспоминал обо мне? — спрашивает она. — Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю почему. Ведь мы знакомы так мало. Правда? Я читала книгу и вдруг думала, понравилась бы она тебе. У тебя уши не краснели? Говорят, если думаешь долго о ком-нибудь, у него начинают уши краснеть. Я даже в Большой не пошла. Мне мама дала один билет, а я не пошла... Ты любишь оперу?

— Еще бы! Я, может, скоро стану певцом. Мне сказали, что у меня хороший бас.

— Алеша! У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потихоньку спой, и никто не услышит, одна я.

Сначала я отказываюсь. Потом я все-таки пою. Я пою романсы и арии и не замечаю, что дождь уже кончился, по тротуару идут прохожие и оглядываются на нас. Лили тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза ее блестят.

4

Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уже семнадцать или восемнадцать лет, а ты еще ничего не сделал. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, бурной жизни! Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру — бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб... И чтобы в ложе непременно сидела Лили!

Что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день был днем борьбы и побед! Я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли я на тяжелый труд, хватит ли у меня сил на совершенные великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Все смотрят на меня как на мальчишку, даже иной раз ерошат мне волосы, будто мне еще десять лет! И только Лиля, одна Лиля понимает меня, только с ней я могу быть до конца откровенным.

Мы давно уже занимаемся в школе: она в девятом, я — в десятом. Я решил заняться плаванием и стать чемпионом СССР, а потом и мира. Уже три месяца хожу я в бассейн. Кроль — самый лучший стиль. Это самый стремительный стиль. Он мне очень нравится. Но по вечерам я люблю мечтать.

Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!..

Я начинаю ходить по трестам и главкам. Их много в Москве, и все они со звучными загадочными названиями. Да, экспедиции отправляются. В Среднюю Азию, и на Урал, и на Север. Да, работники нужны. Какая у меня специальность? Ах, у меня нет специальности... Очень жаль, но мне ничем не могут помочь. Мне необходимо учиться. Рабочим? Рабочих они нанимают на месте. Всего доброго!

И я снова хожу в школу, готовлю уроки... Что ж, придется покориться обстоятельствам. Хорошо, я окончу десять классов и даже поступлю в институт. Мне теперь все безразлично. Я поступлю в институт и стану потом инженером или учителем. Но в моем лице люди потеряют великого путешественника.

Наступил декабрь. Все свободное время я провожу с Лилей. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лилия делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на ко-

торую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается ехать в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле. Мы идем с ней на каток, потом — греться в Третьяковку. В Третьяковке зимой очень тепло, там есть стулья, и на стульях можно посидеть и потихоньку поговорить. Мы бродим по залам, смотрим картины. Особенно я люблю «Девочку с персиками» Серова. Эта девочка очень похожа на Лилю. Лилия краснеет и смеется, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет. Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз, и тут я вспоминаю, что мне нужно было съездить за шалью. Я с испугом говорю об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедем за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички. Слышны разговоры и смех, вспыхивают огоньки папирос. Иногда кто-нибудь впереди бросает окурки на дорогу. Мы подходим, он все еще светится. Вокруг огонька — маленькое розовое пятнышко на снегу. Мы не наступаем на него. Пусть еще посветится во тьме. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Тут гораздо темнее, чем в поле. Только из окон некоторых дач падают на снег желтые полосы света. Многие дачи стоят совсем глухие, темные: в них, наверное, зимой не живут. Сильно пахнет березовыми почками и чистым снегом; в Москве так никогда не пахнет.

Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.

— Лилия, ты подождешь меня немного? — нерешительно прошу я. — Я очень скоро.

— Хорошо, — соглашается она. — Только недолго. Я совсем замерзла. У меня замерзли ноги. И лицо. Нет, ты не думай, я рада, что поехала с тобой! Только ты недолго, правда?

Я ухажу, оставляя ее на темной просеке совсем одну. У меня очень нехорошо на сердце.

Тетя и двоюродная сестра удивлены и обрадованы. Почему я так поздно? Как я вырос! Совсем мужчина. Наверное, я останусь ночевать?

— Как здоровье мамы?

— Спасибо, очень хорошо.

— Папа работает?

— Да, папа работает.

— Всё там же? А как здоровье дяди?

Господи, тысячи вопросов! Сестра смотрит расписание поездов. Ближайший обратный поезд идет в одиннадцать часов. Я должен раздеться и выпить чаю. И потом, я должен дать им посмотреть на себя и рассказать обо всем. Ведь я не был у них целый год. Год — это очень много.

Меня насильно раздевают. Топится печка, ярко горит лампа в розовом абажуре, стучат старинные часы. Очень тепло, и очень хочется чаю. Но на темной просеке меня ждет Лиля!

Наконец я говорю:

— Простите, но я очень спешу... Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет... один приятель.

Как меня ругают! Я совсем невоспитанный человек. Разве можно оставлять человека на улице в такой холод! Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погодя опять хрустит снег, и сестра вводит в комнату Лилу. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки.

Понемногу мы отогреваемся. Потом садимся пить чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив! Я выпил уже пять стаканов чаю.

Потом мы встаем из-за стола. Пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велют Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают

пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза.

Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня. Отойдя от дома, мы начинаем немного различать тропинку. Лиля вдруг начинает хохотать. Она даже падает два раза, и мне приходится поднимать ее и вытряхивать снег из рукавов.

— Какой у тебя был вид! — еле выговаривает она. — Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели!

Я тоже хохочу во все горло.

— Алеша! — вдруг со сладким ужасом говорит она. — А ведь нас могут остановить!

— Кто?

— Ну, мало ли кто! Бандиты... Они могут нас убить.

— Ерунда! — говорю я громко.

Кажется, я говорю это слишком громко. И почему-то вдруг начинаю чувствовать, что на улице мороз. Он даже как будто покрепчал, пока мы пили чай и разговаривали.

— Ерунда! — опять повторяю я. — Никого здесь нет!

— А вдруг есть? — быстро спрашивает Лиля и оглядывается. Я тоже оглядываюсь.

— Ты боишься? — звонко спрашивает она.

— Нет! Хотя... А ты боишься?

— Ах, я страшно боюсь! Нас определенно разденут. У меня предчувствие.

— Ты веришь предчувствиям?

— Верю. Зачем я поехала? Впрочем, я рада все равно, что поехала.

— Да?

— Да! Если даже нас разденут и убьют, я все равно не пожалею. А ты? Ты согласился бы умереть ради меня?

Я молчу и только крепче сжимаю ее руку. Если бы мне только представился случай, чтобы доказать ей свою любовь!

— Алеша...

— Да?

— Я у тебя хочу спросить... Только ты не смотри на меня. Не смей заглядывать мне в лицо! Да... о чем я хотела? Отвернись!

— Ну вот, я отвернулся. Только ты смотри на дорогу. А то мы споткнемся.

— Это ничего, я в платке, мне не больно падать.

— Да?
— Алеша... Ты целовался когда-нибудь?
— Нет. Никогда не целовался. А что?
— Совсем никогда?
— Я целовался один раз... Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать.

— Правда? Ты не помнишь ее имени?
— Нет, не помню.
— Тогда это не считается. Ты был еще мальчик.
— Да, я был мальчик.
— Алеша... Ты хочешь меня поцеловать?

Я все-таки спотыкаюсь. Теперь я не отворачиваюсь больше, я внимательно смотрю на дорогу.

— Когда? Сейчас? — спрашиваю я.

— Нет, нет... Если мы дойдем до станции и нас не убьют, тогда на станции я тебя поцелую.

Я молчу. Мороз, кажется, послабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щеки. И жарко. Или мы так быстро идем?

— Алеша...

— Да?

— Я совсем ни с кем не целовалась.

Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед, на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы тридцать километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь!

— Это, наверное, стыдно — целоваться? Тебе было стыдно?

— Я не помню, это было так давно... По-моему, это не особенно стыдно.

— Да, это было давно. Но все-таки это, наверное, стыдно.

Мы идем уже полем. На этот раз мы совсем одни в пустом поле. Ни души не видно ни впереди, ни сзади. Никто не бросает на дорогу горящих окурков. Только звонко скрипят наши шаги. Вдруг впереди вспыхивает светлячок, бледный светлячок, похожий на далекую свечку. Он вспыхивает, качается некоторое время и гаснет. Потом опять зажигается, но уже ближе. Мы смотрим на этот огонек и наконец догадываемся: это электрический фонарик. Потом мы замечаем маленькие черные фигуры. Они идут нам навстречу от станции.

Может быть, это приехавшие на электричке? Нет, электричка не проходила, мы не слышали никакого шума.

— Ну вот... — говорит Лиля и крепче прижимается ко мне. — Я так и знала. Сейчас нас убьют. Это бандиты.

Что я могу ей сказать? Я ничего не говорю. Мы идем навстречу черным фигурам, мы очень медленно идем. Я вглядываюсь, считаю: шесть человек. Нащупываю в кармане ключ и вдруг испытываю прилив горячего восторга и отваги. Как я буду драться с ними! Я задыхаюсь от волнения, сердце мое бурно колотится. Они громко говорят о чем-то, но шагах в двадцати от нас замолкают.

— Лучше бы я тебя поцеловала, — печально говорит Лиля. — Я очень жалею...

И вот мы встречаемся на дороге среди пустынного поля. Шестеро останавливаются, зажигают фонарик, его слабый красноватый луч, скользнув по снегу, падает на нас. Мы щуримся. Нас оглядывают и молчат. У двоих распахнуты пальто. Один торопливо докуривает папиросу, сплевывает в снег. Я жду оклика или удара. Но нас не окликают. Мы проходим.

— А девочка ничего, — сожалеюще замечает кто-то сзади. — Эй, малый, не робей! А то отобьем!

— Ты испугался, да? — спрашивает Лиля немного погодя.

— Нет, я только за тебя боялся...

— За меня? — Она сбоку странно смотрит на меня и замедляет шаги. — А я ни капельки не боялась! Мне только платка жалко было.

Больше до самой станции мы не говорим. У станции Лиля, становясь на цыпочки и обсыпаясь снегом, срыгает веточку сосны и сует в карман. Потом мы поднимаемся на платформу. Никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Мы начинаем топать; очень холодно. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам. Я стою на краю платформы, над рельсами, и вытягиваю шею, стараюсь увидеть огонек электрички.

— Алеша... — зовет меня Лиля. У нее странный голос.

Я подхожу. Ноги мои дрожат, мне делается вдруг чего-то страшно.

— Прижмись ко мне, Алеша, — просит Лиля. — Я совсем замерзла.

Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней, и мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней, волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Как-ие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд! Снег скрипит у нас под ногами. Мы стоим неподвижно, но он скрипит. Сзади раздается вдруг звонкий щелчок. Он сухо катится по доскам, как по льду на реке, и затихает где-то на краю платформы. Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить. Лиля шевелит губами. Глаза ее делаются совсем черными.

— Что же ты не целуешь меня? — слабо шепчет она.

Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они опять шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно кружиться. Они теплые. Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Она целуется и смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня любит.

Так мы целуемся в первый раз. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы стоим не шевелясь. Я смотрю поверх ее плеча в темный зимний лес за платформой. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца, а она, наверное, слышит стук моего сердца. Потом она шевелится и затаивает дыхание. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

Вдали слышен низкий гудок, сверкает ослепительная звездочка. Подходит электричка. Через минуту мы входим в светлый и теплый вагон, со стуком захлопываем за собой дверь и садимся на теплую лавочку. Людей в вагоне мало. Одни читают, шуршат газетами, другие дремлют, покачиваясь вместе с вагоном. Лиля молчит и всю дорогу смотрит в окно, хоть стекла замерзли, на дворе ночь и решительно ничего нельзя увидеть.

5

Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я никак не могу решить, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я, одинокий, бродил по Северу? А может, во время поцелуя на платформе? Или тогда, когда она впервые

подала мне руку и нежно сказала свое имя: Лиля? Я не знаю. Я только одно знаю, что теперь уж я не могу без нее. Вся моя жизнь теперь делится на две части: до нее и при ней. Как бы я жил и что значил без нее? Я даже думать об этом не хочу, как не хочу думать о возможной смерти моих близких.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся... Потом... Потом все катится под гору, все быстрее, все ужаснее. Все чаще ее не оказывается дома, все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Я чувствую, как уходит она от меня с каждым разом все дальше, все дальше...

Сколько в мире девушек, которым по семнадцать лет! Но ты знаешь одну, только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск, и глубину, и влажность, только ее голос трогает тебя до слез, только ее руки ты боишься даже поцеловать. Она говорит с тобой, слушает тебя, смеется, молчит, и ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит, так же как и ты ее.

Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь равнодушны, ушли в себя и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Самые священные твои порывы, затаенные и гордые мысли — не для нее, и сам ты со своей сложностью и красотой своей души — не для нее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном, неповторимом мире, а тебе нет туда доступа, ты грешник — и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя! Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и ты стоишь с

пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому Богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость — все, но того, что тебе надо, не появится, и единственного взгляда ты не получишь, ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты даже можешь стать героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно! Как тяжело жить!..

И вот уже весна... Много солнца и света, голубое небо, липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживленны, все собираются встречать май. И я, как и все, тоже собираюсь. Мне подарили к маю сто рублей — теперь я самый богатый человек! И у меня впереди целых три свободных дня. Три дня, которые я проведу с Лилей, — не станет же она и в эти дни готовиться к экзаменам! Нет, я не пойду никуда, никакие компании мне не нужны, я буду эти дни вместе с ней. Мы так давно не были вместе...

Но она не может быть со мной. Ей нужно ехать на дачу к больному дяде. Ее дядя болен, и ему скучно, он хочет встретить май в кругу родных, и вот они едут — ее родители и она. Прекрасно! Очень хорошо встретить май на даче. Но мне так хочется побыть с ней... Может быть, второго мая?

Второго? Она раздумывает, наморщив лоб, и слегка краснеет. Да, может быть, она вырвется... Конечно, она очень хочет! Мы ведь так давно не были вместе. Итак, второго вечером, у телеграфа на улице Горького.

В назначенный час я стою у телеграфа. Как много здесь народу! Над моей головой — глобус. Еще сумерки, но он уже светится — голубой, с желтыми материками — и тихонько крутится. Полыхает иллюминация: золотые колосья, голубые и зеленые искры. От света иллюминации лица у всех очень красивые. У меня в кармане сто рублей. Я их не истратил вчера, и они со мной — мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино... Я терпеливо жду. Кругом все нервничает, но я удивительно спокоен.

По улице, прямо посередине, идут толпы людей. Как много девушек и ребят, и все поют, кричат что-то, играют на аккордеонах. На всех домах флаги, лозунги, много огней. Поют песни, и мне тоже хочется запеть, ведь у

меня хороший голос. У меня бас. Я когда-то мечтал стать певцом. О многом я мечтал...

Вдруг я вижу Лилю. Она пробирается ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются — так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Сердце мое начинает колотиться. Она быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут меня. Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет мне в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в шляпе и смотрит на меня. Он красивый, этот парень, и он держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как я только на второй месяц осмелился взять ее под руку.

— Здравствуй, Алеша, — говорит Лилия. Голос у нее немного дрожит, а в глазах смущение. Только небольшое смущение, совсем маленькое. — Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом и чуть хмурится. Потом она поворачивает голову и смотрит на парня. У нее очень нежная шея, когда она смотрит на него. Смотрела ли она так на меня?

— Познакомьтесь, пожалуйста!

Мы знакомимся. Он крепко жмет мне руку. В его познании — уверенность.

— Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр... Ты не обижаешься?

— Нет, я не обижаюсь.

— Ты проводишь нас немножко? Тебе ведь все равно сейчас нечего делать.

— Провожу. Мне действительно нечего делать.

Мы вливаемся в поток и вместе с потоком движемся вниз, к Охотному ряду. Зачем я иду? Что со мной делается? Кругом поют. Играют аккордеоны. На крышах домов гремят репродукторы. В кармане у меня сто рублей! Совсем новая хрустящая бумажка в сто рублей. Но зачем я иду, куда я иду!

— Ну, как дядя? — спрашиваю я.

— Дядя? Какой дядя?.. Ах, ты про вчерашнее? — Она закусывает губу и быстро взглядывает на парня. — Дядя поправляется... Мы очень здорово встретили Май, так весело было! Танцевали... А ты? Ты хорошо встретил?

— Я? Очень хорошо.

— Ну, я рада!

Мы заворачиваем к Большому театру. Мы идем все рядом, вдвоем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Она сейчас за тысячу верст от меня. Почему у меня першит в горле? И щиплет глаза. Заболел я, что ли? Доходим до Большого театра, останавливаемся. Молчим. Совершенно не о чем говорить. Я вижу, как парень легонько сжимает ее локоть.

— Ну, мы пойдем. До свидания! — говорит Лиля и улыбается мне. Какая у нее виноватая и в то же время отсутствующая улыбка!

Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У нее легкая фигура. Где я впервые увидел ее фигуру? Ах да, в черной дыре ворот, когда я приехал с Севера. Тогда ее фигура поразила меня. Потом я любовался ею в Колонном зале и в консерватории. Потом на школьном балу... Изумительный зимний бал! А сейчас она уходит и не оглядывается. Раньше она всегда оглядывалась, когда уходила. Иногда она даже возвращалась, внимательно смотрела мне в лицо и спрашивала:

— Ты что-то хочешь мне сказать?

— Нет, ничего, — отвечал я со смехом, счастливый оттого, что она вернулась.

Она быстро оглядывалась по сторонам и говорила:

— Поцелуй меня!

И я целовал ее, пахнущую морозом, на площади или на углу улицы. Она любила эти мгновенные поцелуи на улице.

— Откуда им знать! — говорила она о людях, которые могли увидеть наш поцелуй. — Они ничего не знают! Может, мы брат и сестра. Правда?

Теперь она не оглядывается. Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь. То и дело слышен смех. Идут по двое, и по трое, и целыми группами — совсем нет одиноких. Одиному невыносимо на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят дома. Я стою и смотрю... Вот они уже скрылись в освещенном подъезде. Весь вечер они будут слушать оперу, наслаждаясь своей близостью. Надо мной в фиолетовом

небе летит и никак не может улететь крылатая четверка коней. И в кармане у меня сто рублей. Совсем новая булавка, которую я не истратил вчера...

6

Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не остановилась. Я почти забыл о Лиле. Да, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я встретился с ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я. Хотя у меня произошло за это время много нового. Год — это ведь очень много!

Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учебы, никто не зовет меня гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль — самый стремительный стиль. Впрочем, это не важно.

Однажды я получаю от нее письмо. Опять весна, снова май, легкий май, у меня очень легко на душе. Я люблю весну. Я сдаю экзамены и перехожу на второй курс. И вот я получаю от нее письмо. Она пишет, что вышла замуж. Еще она пишет, что уезжает с мужем на Север и очень просит прийти проводить ее. Она называет меня «милый», и она пишет в конце письма: «Твоя старая, старая знакомая».

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с очень замысловатым рисунком. Я люблю смотреть на эти рисунки. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой, она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более что я давно все забыл: мало ли чего не бывает в жизни! Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад!

И я еду на вокзал в тот день и час, которые написала она мне в письме. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и муж — тот самый парень. Они все гром-

ко говорят и смеются, но я замечаю, как Лиля нетерпеливо оглядывается: она ждет меня.

Я подхожу. Она тотчас берет меня под руку.

— Я на одну минуту, — говорит она мужу с нежной улыбкой.

Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит. Он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим.

— Ну, вот я и дама, и уезжаю, и прощай Москва, — говорит Лиля и грустно смотрит на башни вокзала. — Я рада, что ты приехал. Странно как-то все... Ты очень вырос. Как ты живешь?

— Хорошо, — отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но улыбка у меня не получается, почему-то деревенеет лицо.

Лилия внимательно смотрит на меня, лоб ее прорезает морщинка. Это у нее всегда, когда она думает.

— Что с тобой? — спрашивает она.

— Ничего. Я просто рад за тебя... Давно вы поженились?

— Всего неделю. Это такое счастье!

— Да, это счастье.

Лилия смеется:

— Откуда тебе знать! Но постой, у тебя очень странное лицо!

— Это кажется. Это от солнца. Потом, я немного устал, у меня ведь экзамены. Немецкий...

— Проклятый немецкий? — смеется она. — Помнишь, как я тебе помогала?

— Да, я помню. — Я раздвигаю губы и улыбаюсь.

— Слушай, Алеша, в чем дело? — тревожно спрашивает Лиля, придвигаясь ко мне. И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. Да, оно переменялось, оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить. — Ты скрываешь что-то, — с упреком говорит она. — Раньше ты был не такой!

— Нет, нет, ты ошибаешься, — убежденно говорю я. — Просто я не спал ночь.

Она смотрит на часы. Потом оглядывается. Муж кивает ей.

— Сейчас! — кричит она ему и снова берет меня за руку. — Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся же за меня. Мы едем на Север, на работу... Помнишь, как ты рассказывал мне о Севере? Вот... Ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг она начинает смеяться.

— Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? Я тебя поцеловала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. Ха-ха-ха... У тебя был тогда глупый вид.

Она смеется. Потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые. Только вечером они кажутся темными. На щеках у нее дрожат ямочки.

— Какие мы дураки были! — беспечно говорит она и оглядывается на мужа. Во взгляде ее нежность.

— Да, мы были дураки, — соглашаюсь я.

— Нет, дураки — не так, не то... Мы были просто глупые дети. Правда?

— Да, мы были глупые дети.

Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лилия идет к вагону. Ее ждут.

— Ну, прощай! — говорит она. — Нет, до свиданья! Я тебе напишу, обязательно!

— Хорошо.

Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает это. Она искоса взглядывает на меня и немного краснеет.

— Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И конечно, без цветов! Ты никогда не подарил мне ни одного цветка!

— Да, я не подарил тебе ничего...

Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся внизу на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны! Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах, в одном вагоне громко поют. Наверно, студенты. Лилия уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки. И еще видно, какая счастливая у нее улыбка.

Поезд уходит. Я закуриваю, засовываю руки в карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно. И я опускаю глаза. Теперь можно при-

знаться: весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее, честное слово, рад! Только почему-то очень болит сердце.

Обычное дело, девушка вышла замуж — это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал в пятнадцать лет. Теперь мне двадцатый. И сердце стоит в горле и поднимается все выше — скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать. Очень хорошо, что девушки выходят замуж...

Я выхожу на площадь, в глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр — я никогда не мог в них разобраться. Я подхожу к газировщице. Сначала я прошу с сиропом, но потом раздумываю и прошу чистой воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как я глотаю наконец, всего один глоток. Кажется, стало легче.

Потом я спускаюсь в метро. Что-то сделалось с моим лицом: я замечаю, что многие пристально на меня смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле. Потом я снова начинаю рассматривать узоры на обоях. Если заглядеться на них, можно увидеть много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами. Или фигуры странных людей в беретах и плащах. Или лица своих знакомых. Только Лилиного лица нет на обоях...

Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени. Посмотрит ли она на эту платформу? Подумает ли обо мне? Впрочем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый, ее муж.

7

Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность, отошла далеко-далеко, навсегда. И это хорошо: я взрослый человек и все могу, и мне не ерошат волосы, как ребенку. Скоро я поеду на Север. Не знаю, почему-то меня все тянет на Север. Наверное, потому, что я там охотился когда-то и был счастлив. Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с Севера. Где она — я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни музыкантом... Ну что ж, не всем быть поэтами! Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены — все это очень занимает меня, ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых влюбляюсь, и они влюбляются в меня...

Но иногда мне снится Лилия. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней — о чем, я не помню. Иногда она печальна и темна, иногда радостна, на щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему семнадцать лет и я люблю впервые в жизни.

Я просыпаюсь утром, еду в институт на лекции, дежурю в профкоме или выступаю на комсомольском собрании. Но мне почему-то тяжело в этот день и хочется побыть одному, посидеть где-нибудь с закрытыми глазами.

Но это бывает редко: раза четыре в год. И потом, это все сны. Сны, сны... Непрошенные сны!

Я не хочу снов. Я люблю, когда мне снится музыка. Говорят, если спать на правом боку, сны перестанут сниться. Я стану спать теперь на правом боку. Я буду спать крепко и утром просыпаться веселым. Жизнь ведь так прекрасна!

Ах, Господи, как я не хочу снов!



ТЕДДИ

(История одного медведя)

1

Большого бурого медведя звали Тедди. У других зверей тоже были имена, но Тедди никак не мог запомнить их и постоянно путал и только свою кличку знал твердо, всегда откликался и шел, если его звали, и делал то, что ему говорили.

Жизнь его была однообразной. Работал он в цирке, работал так давно, что и счет потерял дням. Его, по привычке, держали в клетке, хоть он давно уже смирился и в клетке не было необходимости. Он стал равнодушен ко всему, ничем не интересовался и хотел только, чтобы его оставили в покое. Но он был старым, опытным артистом, и в покое его не оставляли.

Вечером его выпускали на ярко освещенный манеж, посередине которого не торопясь расхаживал высокий человек с напудренным лицом. На человеке были белые

пantalоны, мягкие черные сапоги и лиловая куртка с нашитой спереди золотой тесьмой. И pantalоны, и куртка, и бледное равнодушное лицо человека всегда производили на Тедди сильное впечатление. Но больше всего медведь боялся его глаз.

Когда-то, в дни своей молодости, Тедди несколько раз поднимал страшный звериный бунт. Он тоскливо ревел, рвал прутья клетки, и никакими самыми жестокими мерами нельзя было его успокоить. Но приходил человек с бледным лицом, становился возле клетки, смотрел на Тедди, и каждый раз под его взглядом медведь покорно стихал и через час уже позволял выводить себя на репетицию.

Теперь Тедди уже не бунтовал и послушно проделывал всевозможные неловкие и ненужные, часто даже неприятные штуки. И человек в белых pantalонах уже не грозил ему взглядом, а когда говорил о медведе, то называл его не иначе как «старый добрый Тедди», и в голосе его была ласка.

В кожаном наморднике выходил Тедди на манеж, кланялся зрителям, которые встречали его радостным шумом. Ему подавали велосипед, он задирал через седло лапу, отталкивался и, сильно нажимая на педали и крепко вцепившись в руль, ездил кругами по манежу. Громко играла музыка, а зрители смеялись и хлопали в ладоши.

Он умел делать еще несколько забавных штук: быстро перебирая лапами, катался на больших шарах, подымался и балансировал на тонкой металлической планке, дрался в надетых на передние лапы перчатках с другим медведем. Тедди не понимал, почему так веселятся эти люди, когда он проделывает свои неудобные штуки.

По ночам медведь часто не спал. В коридоре тускло горела маленькая лампочка, громко храпел старик сторож, от которого всегда вкусно пахло. Звери рычали и повизгивали во сне. От клеток шел тяжелый звериный запах. В углах было темно. По полу бегали большие наглые крысы, вставали на задние лапы, и от них тянулись тогда длинные тени.

Подумав и поворчав некоторое время, Тедди начинал заниматься своим туалетом. Он долго и равномерно вылизывал лапы и живот, а когда лапы и живот становились совершенно мокрыми и липкими, принимался за

бока и спину. Но спину лизать было неловко, он скоро устал и предавался тогда печальным размышлениям.

Вспоминал он детство свое и мать — красивую медведицу с мягкими лапами и длинным горячим языком. Но детства Тедди почти не помнил, помнил только небольшой ручей с желтыми песчаными берегами; песок был мелкий и горячий. Помнил еще кисло-сладкий запах муравьев, которых ему с тех пор не доводилось попробовать.

Думал он и еще о многом, какие-то образы посещали его, злость и горечь наполняли грудь, хотелось реветь, куда-то пойти и делать что-то свое, звериное, и громко вздыхал он всю ночь, а на другой день бывал особенно вялым и хмурым и неохотно выходил на репетицию.

2

Однажды цирк поехал куда-то далеко по железной дороге. Поехал и Тедди. Он ездил так много на своем веку, что уже ничему не удивлялся и не любил только запаха бензина, которым пахли автомашины.

Все происходило так же, как и всегда. На станции клетки со зверями закатывали в вагоны, люди кричали, ругались, что-то приколачивали. Наконец двери хлопнули, и скоро все равномерно задрожало и закачалось, и сильно захотелось спать. Дрожало и качалось два дня, потом все стихло. Когда двери открыли и стали выгружать клетки из вагонов и грузить на автомашины, все кругом было другое и пахло иначе, но Тедди не удивился этому.

Решено было накормить зверей, прежде чем везти их дальше. Пришел служитель, вычистил клетки, потом принес еду. Сунув в клетку Тедди немного вареной картошки, хлеба и тазик с овсянкой, служитель отвлекся чем-то и ушел, позабыв запереть клетку.

Медведь, не обращая внимания на открытую дверцу, жадно ел картошку и овсянку и даже слегка похрюкивал — так проголодался. Съев обед и облизываясь, он, по привычке, стал подталкивать посуду к дверце и тут только заметил, что та не закрыта. Он сильно удивился, высунул голову наружу, посмотрел туда-сюда, зевнул, подался назад и улегся, закрыв глазки. Но через минуту он встал и опять высунулся. Понюхал воздух, поглядел,

будто что-то припоминая, подумал, еще высунулся и прыгнул с машины на землю. На земле он с наслаждением потянулся и стал с любопытством обходить машину.

К машине в это время подходил шофер. Он держал кепку под мышкой и что-то жевал. Ветер дул от него, Тедди почуял запах колбасы и пошел навстречу. Увидев медведя, шофер перестал жевать и замер. Тедди поднялся на задние лапы и ласково заворчал. Тогда шофер быстро повернулся, уронил кепку и бросился со всех ног к низкому длинному дому с какой-то вывеской над дверью.

— Помогите! — в ужасе закричал он.

Тедди опустилсся и на всякий случай подался в сторону. Он даже повернул назад, чтобы залезть обратно в привычную клетку, но тут из дома высыпали люди и закричали на медведя дикими голосами. Тедди обернулся в испуге, ища среди всех этих людей знакомое лицо, но знакомых не было. Тедди стало страшно, и он побежал.

Он промчался мимо коновязи. Лошади, увидев его, шахрахнулись, заржали. Тедди тоже рывкнул и надал ходу.

Он пробежал огородом, перемахнул через плетень и помчался полем к далекому лесу. Бежал он быстро, прижав уши, фыркая, испытывая острое незнакомое удовольствие. Добежав до первых кустов и запыхавшись, он остановился и с испугом посмотрел назад: станции не было видно, не было ни людей, ни машин, только голое поле и темнеющие вдали крыши.

Медведь затосковал, ему захотелось попасть опять в цирк, жить в темном коридоре, слушать по ночам храп вкусно пахнущего сторожа. Назад идти он боялся и тихонько ворчал, приподнимаясь на задние лапы и раскачиваясь.

Потом он обернулся, посмотрел на лес, несколько раз фыркнул, чтобы прочистить нос, и понюхал. Пахло сладко смолой, грибами, и еще было много будоражащих запахов. Тедди пошел к лесу. Он медленно шел кустами и каждый раз, выйдя на чистое место, оглядывался в надежде увидеть служителя или человека в белых панталонах, которые ласково сказали бы ему: «Тедди!» Но никто не показывался, никто не звал его, было тихо, а из леса все более явственно доносился могучий зов. И Тедди со смешанным чувством страха и любопытства вошел в лес.

Тедди не повезло. Он попал в часть леса, обжитую людьми. Здесь расположен был леспромхоз, большие площади были вырублены, то и дело бросались в глаза непонятные в лесу предметы: линия узкоколейки, обрывки тросов, масляные тряпки, изъезженные дороги, гулкие бревенчатые гати. Птиц и зверей почти не было в этом месте, а по ночам были слышны металлические удары, шум моторов, тонкие паровозные гудки.

Тедди было дико и непривычно в лесу, и он поначалу только и думал, как бы встретиться с людьми. Но в то же время что-то мешало ему идти навстречу звукам машин. Все его раздражало, он не ел, почти не спал и сильно отощал. Несколько раз он принимался выделывать свои на всю жизнь заученные фокусы в надежде, что кто-нибудь выйдет к нему и накормит.

Он делал стойку на передних лапах, дрыгал задними в воздухе, будто перекачивал в них шар, и так обходил поляну. Потом он кувыркался через голову, плясал, «умирал» и, оживая, очень довольный собой, оглядывался по сторонам, ожидая подачки. Но никто не радовался, не хвалил его, не появлялся волшебный суп-овсянка, и в маленьких глазках медведя появлялось тоскливое изумление.

Несколько раз он выходил к реке, глядел на плывущие по воде бревна, тосковал и снова уходил в лес.

4

Так прошло два дня и две ночи. На третью ночь Тедди вышел опять к реке и остановился пораженный: к берегу был причален большой плот с избушкой на середине. Светила яркая луна, на берегу стояли белые бараки с черными окнами, вокруг не было ни души и ни звука не было слышно, только между бревнами плота сонно журчала вода. Тедди привстал на задние лапы и повел носом. С плота от избушки невыносимо вкусно пахло ржаным хлебом и картошкой. Тедди облизнулся и закачался на задних лапах. Качаясь, он напряженно размышлял.

Идти туда, откуда пахло, он боялся, так как знал, что там люди. Но соблазн был так велик, что медведь, похо-

див по берегу и попробовав лапой воду, остановился как раз напротив избушки. Ах, как замечательно пахло!

Плот был подогнан к берегу не вплотную, на берег были переброшены в одном месте сходни, но Тедди в нетерпении не обратил на них внимания, сунулся в воду и через мгновение уже взбирался на плот. Неуверенно ступая по бревнам, медведь подошел к избушке и обошел ее кругом. Изнутри доносился громкий храп. Тедди вспомнил циркового сторожа и приободрился. Он заглянул через окно внутрь, но ничего не увидел. Тогда он решительно отворил дверь и, протиснувшись в избушку, сразу сглотнул сладкую слюну — так вкусно пахло здесь портянками, хлебом и картошкой. Хлеб и картошка были на столе. Тедди подошел к столу, свалил с чугунка теплую запотевшую тарелку, опрокинул чугунок и зарычал, сейчас же начиная, торопясь и давясь, глотать хлеб.

— Эй! — окликнул вдруг его человек с нар, перестав храпеть. — Кто это? Ты, Федя?

Медведь присел от испуга, но потом разъярился, рывкнул и ударил лапой по столу. Чугунок и тарелка упали на пол. Тотчас что-то никак не похожее на человека свалилось с нар, на карачках юркнуло в дверь и побежало по плоту к берегу.

Через минуту, когда медведь доедал уже последний хлеб, на берегу послышался сильный шум. Нужно было уходить, но он еще не наелся, еще схватил с полу несколько картошек и потом не сразу попал в дверь. Когда же он вытиснулся из двери, то увидел близко много людей. Заметив медведя, люди разом закричали, как тогда на станции, а Тедди растерянно остановился: путь к берегу был ему отрезан.

Он сунулся было наискосок, надеясь проскочить краем плота, но наперерез ему блеснул длинный огонь и бахнул выстрел. Медведь испугался и завернул назад, вокруг избушки. Люди бежали за ним, окружая его полукольцом и прижимая к краю плота. Опять бахнуло сзади, ширкнуло по бревнам и отскочившей корой стегнуло медведя по животу. Он рывкнул, прыгнул вперед и плюхнулся в воду, подняв столб серебристых в лунном свете брызг. Он никогда в жизни не плавал, окунулся с головой и, вынырнув, не знал сперва, что делать, но лапы его сами собой задвигались, он зашлепал ими что есть силы, вытягивая нос кверху, к звездам. Вода мягко

сносила его на низ, люди остались на плоту и долго еще кричали, а медведь все сильнее двигал лапами, чихал, пыхтел и поднимал нос кверху.

Проплыв около получаса по теплой серебристой воде, он увидел вблизи лес — сплошной и черный. Это был уже не тот лес, из которого медведь недавно вышел. Это был лес без просек и вырубок и без человеческого жилья.

Почуяв дно под собою, Тедди тяжело выбрался на берег и остановился. Вода текла с его шубы ручьями. Оглянувшись, он увидел далеко наверху слабые огоньки и что-то еле белеющее в темноте и понял, что там остались люди, и бараки, и плот, и еще понял, что на том берегу было опасно и шумно, а здесь тихо и хорошо. Вспомнив выстрелы и оставшуюся в избушке на полу картошку, он поворчал немного, потом встряхнулся несколько раз и полез вверх по крутому обрыву навстречу огромным неподвижным соснам и елям.

5

Это был громадный лес, тянувшийся на десятки верст вверх и вниз по реке. Мало того: он уходил на восток до Уральского хребта и на север — до самой тундры. Лес взбирался на холмы, расступался иногда озерами или полями, на которых виднелись редкие деревни с двухэтажными избами.

Это была глухая сторона, мало посещаемая людьми, и здесь-то и было настоящее раздолье для всякого зверя и птицы.

Много тут было волков и лисиц, белок и зайцев, водились тут лоси и рыси с загадочным взглядом желтых глаз. Здесь попадались совершенно глухие места, где и пройти-то было невозможно, где валившиеся деревья так и оставались лежать годами, догнивая и оседая постепенно к земле.

Случались здесь пожары, возникавшие от неизвестных причин, как бы сами собой. Огонь бушевал тогда на огромных пространствах, пожирая лес и траву, и тысячами гибли в нем звери. Огонь проходил косяками и затишал постепенно, тоже как бы сам собой, оставляя после себя черные уголья и пепел и редкие обгорелые стволы.

Скоро на гари начинала расти буйная красная жест-

кая трава, потом появлялись черника и брусника на кочках и молодые березки и сосенки. По краям показывались заросли шиповника и малины, и гарь уже не казалась диким и страшным для зверя местом, а становилась неисчерпаемой кладовой, в которой кормились сумрачные глухари, робкие рябчики, тетерева и зайцы. Лоси тоже приходили сюда и оставляли глубокие ямки следов в мягком беловатом мху.

Редко-редко раздавался в лесах этих выстрел, а когда раздавался, то долго и звонко раскатывался по холмам, вылетал на реку, отдавался от другого берега и возвращался уже ослабевшим и протяжным. Белки роняли тогда шишки и взлетали на верхушку дерева, чтобы оглянуться с безмерным любопытством; зайцы на лежаках вставляли столбиками; лоси, наставив уши, минуту слушали и беззвучно передвигались на другое место; рыси, дремлющие в чащобах, приоткрывали дремучие желтые глаза и нервно потряхивали кисточками на ушах; и только волки, лучше всех знакомые с человеком, бросали все, серыми тенями взбегали на ближний бугор и долго нюхали, стараясь и боясь одновременно поймать с ветерком запах человека.

6

Всю ночь шел Тедди на север, держась берега реки, как моряк держится компаса. Углубляться в лес он боялся: лес был полон неизвестности, тогда как река была знакома, она уже выручила его раз, и он ей доверял. Со всех сторон подступали к нему звуки и запахи, в которых он должен был разобраться. Некоторые из них были ему хорошо знакомы. Два раза его путь пересекал след рыси, и он сразу вспомнил рысь из цирка, хоть та пахла резче: звери в неволе всегда пахнут сильнее. Потом он вспугнул рябчиков, которые ночевали на низком суку большой елки, и сам сначала испугался, но быстро успокоился, поняв, что это всего-навсего птицы. Следы лисицы он тоже сразу узнал.

Но в конце концов обилие новых впечатлений так утомило медведя, что он выбрал сухое место в небольшом ложке, защищенном со всех сторон порослью елочек, лег и задремал до утра.

Странно, но этот большой зверь был совершенно беспомощным теперь в лесу. За долгие годы он отвык от леса и все перезабыл из того немногого, что успел узнать в детстве. Все инстинкты, которыми его наделила природа, уснули, и он терялся от самых незначительных причин, требующих какого-нибудь действия. Ему все время хотелось есть. Но служителя, который ежедневно кормил его в цирке, здесь не было, приходилось самому искать еду, а он не знал, как это делается, не знал, что можно есть.

Пожалуй, никто так не чувствует и не понимает, как дикие звери, что значит мать. Мать учит детеныша прятаться, драться, убегать, она объясняет ему, кто враг и кто друг. Она знает, где есть черника и муравьи, земляника, вкусные сочные корни, мышьи норы, рыбы и лягушки. Она знает, где есть свежая вода, глухие места и солнечные поляны с мягкой высокой травой. Ей ведомы тайны запахов и перекочевок. И еще она знает, что ни один зверь в лесу не доживает до глубокой старости, каждого постигает страшная беда, и нужно быть очень ловким, смелым и осторожным, чтобы как можно дольше сохранить себя и оставить после себя потомство.

Если бы рос Тедди не в зоопарке, а потом в цирке, среди людей, если бы учителем жизни была для него медведица, свирепая ко всему, но бесконечно добрая к нему, маленькому медвежонку, он сейчас был бы могучим зверем и знал все, что нужно и возможно знать дикому зверю. Но Тедди учился жизни у человека в белых панталонах, и звериный дух его был задавлен еще с детства. Он успел узнать много вещей, которые недоступны и страшны жителю леса. В городе он был несомненно опытнее, умнее любого своего сородича, но что стоили все его знания в мире, куда он теперь попал! В лесу он превратился опять в беспомощного, жалкого детеныша, ничего не знающего, боящегося всего на свете. Вся разнида была в том только, что он был теперь не крошечным медвежонком, а крупным медведем с желтыми клыками и вытертым клеткой задом и что не было теперь с ним доброй и умной матери, которая могла бы его защитить и многому научить.

Тедди разбудили птицы. Маленькие, они едва слышно перепархивали в мокрых от росы ветвях. Далеко на востоке за холмами вставало солнце. Между соснами висел прозрачный туман, сверкала роса, воздух был свеж и чист, и Тедди, выйдя из своего ночного пристанища, заковылял дальше на север. У него от непривычки к лесным скитаниям уже второй день побаливали лапы, но он упрямо шел вперед, так как что-то еще не нравилось ему тут. Он не думал ни о чем, стремясь на север, как не думают птицы, сбиваясь в стаи перед отлетом. Инстинкт, коренившийся в нем, вел его в необычную страну, где должно быть много солнца, много пищи, чистой воды и тишины.

В полдень медведь переходил солнечную поляну, когда ноздрей его коснулся необыкновенный запах, всколыхнувший в душе его целый рой воспоминаний. Но где же источник этого милого сладкого запаха? Тедди повернул на восток, прошел немного — запах исчез! Он вернулся, обеспокоенный, взволнованный, назад — опять маняще запахло! Тогда Тедди стал кружить, и ему понадобилось порядочное время, чтобы отыскать муравейник. Запах, который он поймал, был запахом муравьев, и он сразу его узнал, хоть не слышал столько лет.

Тедди сунул нос в муравейник и даже хрюкнул от наслаждения — так крепко был вблизи этот чудесный запах. Еще глубже зарылся он носом и зачавкал, прижмурившись, высовывая и убирая мокрый язык. Крупные рыжие муравьи мгновенно злым покровом облепили его морду, полезли в уши, но Тедди только мотал головой, поджимал хвост и еще усиленной чавкал. Наконец ему стало невмоготу, и он сел на задние лапы, чтобы перевести дух. В ту же минуту он вспомнил что-то давно забытое и стал разрывать муравейник лапой. Сейчас же муравьи облепили лапу, и ему оставалось только слизывать их. Это было несравненно удобнее — муравьи больше не лезли в нос, в уши, в пасть не попадала земля и хвоя, и Тедди отошел только тогда, когда от муравейника не осталось ничего. Разорив муравейник, Тедди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел уже из него до самого вечера.

Поначалу Тедди пугали взлеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, треск проходящих мимо лосей. Его пугали незнакомые странные запахи, резкие и чуть слышные. Но он без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, встретив их в другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания.

В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не догадывался: ему не нужно было никого бояться. Ему не страшны были ни волки, ни рыси, ни крошечные куницы — все те ужасные существа, от которых плохо приходится мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убегать, чувствуя за собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, его все боялись, так как здесь, в лесу, он, сам того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем.

Понял он это значительно позже, когда однажды наткнулся на труп павшего лосенка, который терзали два крупных волка. Увидев волков, медведь растерянно остановился. Волки заворчали злобно и бессильно и сейчас же отошли, уступив место медведю. И все время, пока Тедди наслаждался лосенком, волки кружили рядом, но не осмеливались подойти. Радостное сознание своего могущества пробудилось тогда в нем, и, даже наевшись до отвала, он несколько раз возвращался и каждый раз с удовольствием видел, как при его появлении отскакивали от падали волки.

8

Останавливаясь в одних местах на день, в других — на два, Тедди все дальше продвигался на север. Сосны становились выше и толще; малины, земляники и брусники было больше, деревень — меньше. Безбрежная дикая красота, нетронутая глушь и тишина простирались вокруг, и, казалось бы, что еще нужно! Но от забытого почти детства у Тедди остались воспоминания настолько неясно прекрасные, что ему все было не так и не то — он стремился в какую-то свою страну, в какой-то свой, медвежий рай.

Найдя особенно хорошее, с его точки зрения, место,

Тедди начинал свой обход. Он выдергивал старые, трухлявые пни, разорял мышинные и беличьи гнезда, переворачивал заросшие сухим белым мхом камни, искал слизняков и червей.

За две недели Тедди многому научился. Он стал спать всегда головой в ту сторону, откуда пришел; он узнал, что, помимо ягод и корней, очень вкусны грибы. Теперь Тедди не жевал без разбору все, что попадет, как в первые дни; он узнал, что самые сочные корни растут в сырых местах; он стал пить только чистую проточную воду и научился пользоваться ветром; чутье его стало лучше, и Тедди уже мог ощущать очень тонкие или старые запахи; и он узнал еще на горьком опыте, что не все в лесу съедобно, что есть ягоды и грибы, которые лучше не трогать.

Он окреп, стал меньше уставать, и подошвы лап, так болевшие в первые дни, теперь загрубели, а когти, которые подрезали в цирке, отросли. Ходить он стал тихо, почти неслышно. Только увлекаясь, начинал ломать все, что попадалось на пути, и тогда треск шел по всему лесу.

Сперва Тедди спал ночью, как привык в цирке. Но потом заметил, что ночью жизнь в лесу куда интересней, чем днем. Следы бродивших ночью куниц, зайцев, лисиц были свежее, что-то шевелилось в траве, возилось в кустах, кто-то перебежал по оврагам и полянам, странные крики рождались в тишине... Кроме того, ночью исчезали все мухи и слепни, которые так досаждали Тедди днем. И он все чаще стал бродить ночью, а днем спать в тайных местах.

9

Однажды Тедди набрел на небольшое овсяное поле в стороне от селений, в лесу, возле старой, заброшенной дороги. Тедди прошел краем поляны. Овсяные метелки слабо щекотали его, и это было приятно. Обойдя поле и не найдя ничего интересного для себя, он ушел, но спустя короткое время вернулся, вошел уже в самый овес, лег там, в этом мягком и светлом под луной островке, и стал хватать метелки пастью. Так он узнал вкус овса, который чем-то напоминал ему почти позабытый суп-овсянку. Сначала с жадностью он ел все подряд — и овес

и стебли, — потом стал жевать и сосать только метелки и с рассветом ушел, вытоптав в овсе большую плешину.

Ему очень понравился овес, и через день он опять пришел и пировал всю ночь. Он бы пришел еще и на следующую ночь, но отвлекся, попав на небольшое болотце и распугав десятка три лягушек, которых и ловил очень долго, весь перемазался и целое утро потом отчищался.

Тедди не знал, что в это утро проезжали по старой дороге люди в телеге, долго осматривали поле, ругались и уехали, а к вечеру снова приехали с топорами и досками, некоторое время стараясь не стучать громко, мастерили что-то на старой и, видимо, очень удобной для них сосне. Потом люди отошли в сторону, покурили, роняя искры в траву, достали ружья из телеги, и двое полезли на сосну, а третий укатил обратно. Под телегой бренчало ведро, уехавший запел песню, и песня и бренчание ведра долго еще слышались оставшимся.

Луна успела взойти над лесом, когда проснулся Тедди. Он долго лежал в совершенной тишине, поворачивая только голову и внюхиваясь. Потом встал, зевнул, потянулся и, вспомнив об овсе, направился к полю своим неторопливым, раскачивающимся шагом. Иногда он останавливался, привлеченный каким-нибудь запахом, совал нос в траву, выдирая сладкий корешок и чавкал — есть тихо он не умел.

Он вышел уже почти к самому полю и мог даже разглядеть сквозь частый осинник белеющую полосу овса с темным пятном посередине — местом, где он пировал две ночи. Ему нужно было продвинуться каких-нибудь десять — пятнадцать шагов, как вдруг он остановился.

Нет, он ничего не услышал и не почувствовал, но точно какая-то тень мелькнула ему, слабый намек на что-то. Инстинкт предостерег его: что-то здесь изменилось за время, пока его не было.

Тедди повернул направо, обходя лесом поле и не теряя из виду слабо сиявшей полоски овса. Шерсть на хребте у него поднялась дыбом, но он не зарычал по своему обыкновению: что-то говорило ему, что лучше не рычать. Поле было пустынно, и все кругом неподвижно. Едва слышный ветерок пришел откуда-то и почти не качнул травы — так он был слаб, но запах овса усилился, и нос Тедди стал сразу еще более мокрым и холодным.

Но Тедди не облизнулся, не раскрыл пасти, он молча проглотил слюну и вышел на светлую дорогу, которую пересекали резкие черные тени от деревьев. Улегшаяся было шерсть на загривке тотчас поднялась: в нос ему ударил слабый, но острый запах дегтя, лошади, табака и людей. Он остановился и долго нюхал. Наконец он понял, что были люди, постояли здесь, покурили и уехали. Несколько смелее он прошел еще вдоль дороги, опять перешел ее и очутился теперь с другой стороны поля.

Он уже твердо знал, что люди, бывшие здесь вечером, уехали, но — странно! — чувство опасности не покидало его и шерсть на загривке не опускалась. Он хотел уйти совсем от места, которое внушало ему такой страх, ибо все неизвестное страшно, и повернул было в лес, но потом вернулся, сделав небольшой крюк.

У Тедди не было матери, и никто не мог его научить, что нужно немедленно уходить от непонятного. Поэтому, вернувшись, он долго стоял в тени елок, и запах, вкусный, нежный запах овса, заглушая чувство страха, тянул его к себе, убаюкивал, лишал осторожности.

Медведь мало-помалу совсем вышел из тени и потянулся уже к метелкам, но в этот миг что-то щелкнуло звонко и шевельнулось где-то сверху и в стороне. Не успел Тедди ни отпрыгнуть, ни поднять голову, как сверкнула вспышка, грохнул с раскатом страшный в ночной тишине выстрел, что-то горячее ударило медведя по передней левой лапе, подшибло ее, и Тедди упал.

Еще когда щелкнуло, Тедди уже понял, что попался, что нужно бежать, и поэтому, как ни разъярен он был в этот миг, вскочив, бросился в спасительный сумрачный лес. Он бросился и побежал так быстро, как только мог, но, к удивлению своему, на втором прыжке снова упал, а вслед ему сверху, с корявой сосны, прогремели еще два выстрела, пронзительно прожужжало и хрястнуло совсем рядом и даже как бы впереди.

Но не выстрелы и хряск испугали его теперь, а то, что он не мог бежать и упал. Он опять вскочил и прыгнул прочь от овсяного поля, и опять что-то непонятное и страшное случилось с ним, и он сунулся мордой в землю. Тут только понял Тедди, что передней лапы его как бы не существует, она онемела, не двигалась, и на нее нельзя было становиться. Тогда он перенес тяжесть тела на другую лапу и побежал все быстрее, быстрее, с ужас-

ным треском, не разбирая дороги, фыркая от ужаса, колыхаясь на ходу, оступаясь, припадая на грудь, — прочь отсюда!

Он долго бежал, и все ему казалось, что сзади трещит и нагоняет его, и он прибавлял ходу, выбиваясь из сил, и наконец, когда совсем отчаялся бежать, остановился, зарычал и обернулся, чтобы встретить врага. Он прорычал и присел, прижав уши, поджав теперь уже нестерпимо болевшую лапу. Глаза его горели, бока вздымались, вся шерсть на хребте и боках торчала от страха и ярости. За шумом своего дыхания он не слышал ничего и, чтобы послушать, перестал дышать. Ничего не услышав и не поверив тишине, подумав, что враг затаился, Тедди опять прорычал, повернулся и стал уходить, все время оглядываясь.

Но никто за ним не гнался, лес притих, испуганный его ревом, и не было слышно ни звука. На ходу Тедди стал лизать лапу. Теплая кровь возбуждала его, боль немного утихла, и он все усердней лизал, находя в этом какое-то странное удовольствие.

И это спасло его. Дождавшись рассвета, охотники с ружьями наготове пошли по кровавому следу и разгадали все: как он мчался, ломая кусты, взрывая когтями землю и брызгая кровью на траву. Они догадались также, что он сидел, оборотясь к ним, — здесь было особенно много крови, трава примялась и слиплась. Но потом следы стали легче, кровь попадалась реже и скоро совсем пропала, и охотники, потеряв след и облазив все ближние овраги, вернулись к себе в деревню ни с чем.

10

А Тедди в это время лежал далеко в сухом острове мрачного леса и страдал. Лапа его распухла и болела, и целый день он не мог тронуться с места.

Пришла ночь, но боль в лапе не давала ему заснуть. Кроме того, какая-то новая тревога овладела им, но он ничего не мог поделать и только усиленно внюхивался, стараясь угадать причину этой тревоги. Лес внезапно притих, все затаилось, не слышать было ни малейшего звука, и эта мертвая тишина все сильнее угнетала и настораживала медведя.

По лесу пронеслось что-то тревожное, и стало душно. Сначала редко, потом все чаще и чаще, опоясывая полгоризонта, запыльхали зарницы. Они вспыхивали беззвучно и таинственно и не видны были из густоты леса, только верхушки сосен освещались бледным, призрачным светом. Потом потихоньку, очень далеко, стал порывкаться гром. Тедди отвечал ему угрюмым ворчанием и беспokoйно ворочался под своей елью. Оттого, что кругом стояла такая зловеющая тишина и что издали все явственнее, почти беспрерывно доносились громовые раскаты, ему все больше хотелось спрятаться куда-нибудь и притаиться. Но спрятаться было негде, и он только крепче прижимался к дереву.

Гроза чрезвычайно быстро надвинулась, звезды в просветах деревьев задернуло чернотой, тьму разрезали белые молнии, ударяя куда-то в соседние холмы, что-то лопалось и грохотало резко и страшно! Тах! Агррррр-бах! — будто кашляло.

Упал с облаков верхний ветер, вершины сосен и елей ответили ему шипением, а внизу было тихо и ничто не шевелилось. Ветер промчался, и почти сразу же вслед за ним пошел дождь. Это не был обыкновенный дождь, который робко шуршит по листьям и который был знаком Тедди, — этот дождь обрушился на лес сразу, наполнил его гулом падающей воды, и, кроме этого гула, уже не было слышно ничего, только гром часто покрывал все торжествующим ревом.

К утру гроза прошла, и тогда весь лес, пронизанный солнцем, загорелся. Сверкающие капли падали с верхних веток на нижние, оттуда на траву, и все капли выпивала земля, а в лесу все утро стоял живой шорох.

Измученный болью, страхом перед грозой и людьми, не спавший, мокрый и несчастный, Тедди сидел под старой елью и не мог радоваться солнцу, не мог из-за боли даже подумать о том, чтобы пойти куда-то и поискать себе пищи. Так он лежал, беспомощный, одинокий, день и другую ночь и еще день, пока наконец рана не стала немного заживать и свирепый голод не выгнал его из укромного места.

Кое-как ковыляя на трех лапах, хмурый и осторожный, он бродил по холмам, и все кусты, сухие ветки, корни или просто высокая жесткая трава, цеплявшиеся за больную лапу, приводили его в ярость. Но прошло

еще несколько дней — медведь начал уже осторожно ступать на нее, и постепенно мрачные мысли покинули его, он опять повеселел и приободрился.

Однажды он шел своей неторопливой иноходью близ берега реки. Была теплая ночь, и попадалось особенно много малины, но Тедди был раздражен. Перед этим он гонялся за одуревшим со сна тетеревом. Тетерев бестолково хлопал крыльями, совался под кусты, ударялся о деревья, падал, и Тедди несколько раз чуть не схватил его, но тетерев все-таки взлетел на березу, и Тедди не смог достать его. Теперь он был зол.

Спустившись в овраг, медведь напился из ручья, поднялся на другую сторону и вдруг почуял запах дыма и услышал человеческие голоса. Потихоньку он пошел на дым и скоро вышел к поляне, на которой ярко горел костер, стояли две палатки и паслись стреноженные лошади. Это была научная экспедиция, но Тедди, конечно, не знал этого и в величайшем изумлении присел, чтобы лучше все рассмотреть. Около костра сидели и двигались люди. Они громко разговаривали, смеялись, и от них на деревьях шевелились большие тени.

Тедди прошел краем поляны, потом подошел ближе к палаткам и вдруг неожиданно для себя пришел в ярость и зарычал. Тотчас испуганно захрапели лошади и сбились в кучу, а из-за палаток выскочила собака, большими прыжками помчалась к Тедди, но, не добежав шагов десяти, остановилась с разбегу и залаяла злобно и трусливо.

Тедди немного отошел и попытался подойти к палаткам с другой стороны, но опять ему навстречу кинулась собака. Люди у костра вскочили, двое нырнули в палатку и выбежали оттуда с ружьями. Как только Тедди заметил красноватые отблески на стволах ружей, он повернулся и бросился наутек. Собака бежала за ним не отставая, в восторге от победы и от погони. Промчавшись опушкой, Тедди завернул к болоту, потом разъярился и оборотился к собаке. Собака сейчас же замолчала и понеслась во весь дух к палаткам. Тедди хотел пойти и разорить лагерь, но вспомнил о ружьях, подался к реке и занялся поисками пищи.

Уже около двухсот километров прошел медведь к северу, нигде подолгу не задерживаясь. Теперь он не был беспомощным, как в первые дни. Запахи открылись ему, и все реже он удивлялся чему-нибудь.

Он узнал, что нужно во всех случаях доверять сойкам и сорокам. Он научился угадывать причину того или иного крика желны, а если замечал издали, что, сидя на верхушке дерева, ворона чистит клюв, а чуть пониже ее, опустив хвост, сидят неподвижные сороки и смотрят вниз, он немедленно направлялся туда, даже не справляясь с чувством, так как знал, что там, где есть сытые вороны, всегда найдется чем поживиться. Он не особенно хорошо лазил по деревьям, но, если встречал удобную разлапистую сосну, никогда не пропускал случая взобраться и оглядеть внимательно окрестности с верхушки дерева.

Узнав за короткий срок столько, сколько не узнать ему было за всю жизнь в городе, став сильным и осторожным, он превратился, как это могло показаться со стороны, в настоящего дикого зверя. Но это было не совсем так.

Раз утром, подойдя к ручью напиться, Тедди остановился как громом пораженный: возле ручья пахло медведем! Это был старый запах, быть может дня два прошло с тех пор, как другой побывал здесь. Но этот слабый запах таил в себе такую угрозу, что Тедди, позабыв о жажде, долго осматривался, и шерсть на хребте у него никак не могла опуститься. Выходило, что не он один царствовал в лесах, был другой, и теперь этого другого следовало опасаться. С этого дня для Тедди не стало покоя.

Все чаще начал он натываться на разоренные муравейники, обсосанную и поломанную малину, на объединенные брусничные кочки. Когда же, издали поймав запах падали, Тедди приходил на место, то оказывалось, что другой уже побывал здесь и от падали оставил действительно только запах. Теперь в лесу всюду пахло чужим медведем, и запах этот приводил Тедди в бешенство. Злоба его, накапливаясь, стала такой острой и постоянной, что для него скоро сделалось ясно: двоим в этом краю не ужиться, одному нужно уйти. Если бы тут было плохо, Тедди не задумываясь ушел бы. Но здесь было так хорошо, так много пищи, что Тедди решил прогнать врага и стал искать встречи с ним. Иногда он встречал свежие следы, чаще натывался на старые, но увидеть самого медведя никак не удавалось.

Встреча их произошла неожиданно. Тедди выбирал утром место, где бы залечь на весь день, и переходил крошечную полянку меж сосен, поросшую сухим белым

мхом, когда в нос ему ударил внезапно противный близкий медвежий запах. Подняв голову, Тедди посмотрел по направлению запаха и увидел наконец своего врага. Ах, как он покажет сейчас этому наглецу! Как он расправится с ним! Враг его скрылся на мгновение за соснами и вышел на поляну...

Это был такой зверь-громадина, что Тедди замер, как кролик. Только секунду назад, озлобленный, жаждущий схватки, он был диким зверем. Но что значила его дикость по сравнению с дикостью врага! Это был настоящий зверь, косматый, бородатый, с железными когтями, горой мускулов и таким свирепым взглядом, что Тедди, тоже крупный зверь, оцепенел от ужаса.

Медведь стоял, низко опустив голову, и казался от этого горбатым. Он стоял молча и в упор смотрел на Тедди. И еще не было произнесено ни звука, не было сделано ни движения, а Тедди уже понял, что именно он должен покинуть навсегда этот прекрасный край. Разве мог он хотя бы помыслить о соперничестве с этой громадиной!

И то, что понял Тедди, в ту же секунду понял и медведь. Мало того — он понял также, что и Тедди это понял. Нет, он не бросился на Тедди, чтобы убить его, он только негромко зарычал. И рев его был на целую октаву ниже самого низкого рева Тедди. Человеку звериный рев всегда кажется одинаковым, его ухо неспособно различить тончайшие оттенки в рычании. Тедди же сразу понял, чего хочет медведь. Его рев, негромкий, даже несколько презрительный, означал короткое: «Пошел вон!» Ослушаться этого приказа значило для Тедди упасть через минуту на белый сухой мох с переломленной шеей и разорванной грудью.

И Тедди не издал ни звука в ответ. Он повернулся и быстро пошел прочь. Уже почти скрывшись в лесу, он последний раз оглянулся. Медведь стоял все так же неподвижно и казался горбатым стогом на фоне частых сосновых стволов.

Тедди ушел навсегда из этого обильного края рыжих муравьев и красной брусники, ушел, чтобы не встречаться на дороге бородатому властелину. Он оказался слабейшим в борьбе за жизнь и проиграл, причем с полным основанием мог считать, что хорошо отделался.

Листья совсем почти облетели с берез и осин, лежали на земле толстым шуршащим ковром, птицы сбивались в стаи, малина кончилась, пошли обильные грибы и начались первые утренние заморозки, когда Тедди, перевалив через множество холмов и сбившись вправо от большой реки, вдоль ее притока, вышел как-то утром на широкую поляну.

Внизу бежал ручей, тихонько гудели огромные сосны, доцветали последние ромашки, жадно глядящие на бесильное солнце. Берег ручья во многих местах состоял из мягкого золотистого песка со следами пурхавшихся в нем тетеревов. Мелодично и бесконечно динькала вода, и Тедди, остановившийся на поляне, понял вдруг, что нашел землю обетованную и наконец-то пришел в страну своего детства. Больше его никуда не манило, никуда не хотелось идти, путешествие его было окончено.

Нет, нет, это не была его родина! Но здесь все было точно так, как было давным-давно, когда Тедди еще не имел имени, а был просто маленьким глупым медвежонком, когда он объедался муравьями и земляникой и мать полоскала его в ручье, держа за шиворот, а потом длинным розовым языком крепко растирала его надувшийся живот. То были прекрасные, невыразимо счастливые дни, и сейчас Тедди как бы вновь вернулся туда... Но это было, конечно, не так. Нет, детство затерялось где-то в смутной дымке времени, не вернется, не придет, не вспыхнет солнечным блеском и зеленой травой. Стать бы ему опять маленьким, найти бы ему свою мать, утреться бы под ее мягким, теплым боком! Как жаль, что это невозможно...

Передвигаясь днем и ночью, Тедди постепенно обходил этот край, отмечая для себя границы своих владений. Он исследовал ручьи, болота, овраги, потные луга, опушки и глухие места. Он встречал в изобилии следы волков, лосей, белок, выдры, зайцев. К одним он относился равнодушно, другие раздражали его, и он принимался копать и разбрасывать землю или обдирать кору, чтобы заявить свое право на землю и лес и даже на самый воздух.

Глухари и тетерева, взметая сухие листья, с крепким звуком взлетали у него из-под носа, но теперь ничто не

удивляло его, и он принимал все как должное и давно знакомое. Он не внюхивался больше с беспокойством и любопытством в след, оставленный каким-нибудь животным. Он просто мимоходом отмечал для себя: «Вот здесь прошли лоси. Их было три». Или: «Пробежала лиса. Она очень торопилась и несла в зубах куропатку».

Шуба его приняла оттенок ореха, отросла и стала пушистой и блестящей. Лапа больше не бодела, и он теперь пускал ее в ход, когда нужно было вывернуть пенек или перевернуть упавшее тяжелое дерево. Он очень много ходил, подгоняемый страшным аппетитом. Но здесь всего было вдоволь, и он часто испытывал наслаждение, чувствуя себя, как никогда, свободным и сильным.

Великая вещь свобода!

Можно встать когда хочешь и идти куда глаза глядят!

Можно остановиться и долго провожать взглядом пролетающий над рекой караван гусей; можно подняться на холм, открытый всем ветрам; там слышны все запахи — выбери для себя любой, иди туда, куда он зовет тебя!

Можно забраться в чащу, где так много сухих деревьев, дуплистых и изъеденных червем, и, наслаждаясь своей могучей, свободной силой, валить эти деревья — сухие, мертвые, они будут падать с таким жалким треском!

12

Пришел ноябрь — месяц крепких заморозков, — и начался осенний гон лосей. Бродя по холмам, Тедди с раздражением прислушивался к их реву. Несколько раз он видел издали лося-великана с большими рогами. Тот, потеряв всякую осторожность, ходил по мелкоколесью, взбирался на сухие гривы, храпел и почти безостановочно трубил. Медведю все меньше нравилось это шумное соседство. Тедди, зверь осторожный, иногда забывался и шумел, но постороннего шума терпеть не мог и скоро возненавидел лося, как когда-то возненавидел медведя.

Однажды он наткнулся на свежие следы лосей и тотчас понял, что это давешний великан с лосихами. В этот день Тедди был особенно зол, желание прогнать нахала сразу охватило его. С яростью разбросал он лосиный помет и быстро пустился по следу. Поднявшись на гриву, он потерял след, опять спустился, сделал большой полу-

круг и снова почуял лосей. Скоро он увидел их. Они кормились в реденьком осиннике, дотягиваясь бархатными губами до самых нежных веток.

Тедди рывкнул и полез к ним. Лосихи шарахнулись и помчались вниз громадными прыжками, а лось-самец неожиданно захрапел и двинулся навстречу медведю. Конечно, в другое время он не задумываясь последовал бы за лосихами. Теперь же, после многих побед, он смело пошел навстречу врагу, и они сошлись на поляне. Тедди сердито заревел. Лось ответил храпом с придыханиями. Вся кожа его дрожала от жажды боя, глаза налились кровью, ноздри трепетали, и легкий парок от дыхания сносило ветерком. Он был в самом расцвете сил, с огромными лопастями рогов, мощной шеей и легким вислым задом.

Тедди, не ожидавший такой встречи, опешил. Он не испугался, он только приостановился, раздумывая, как бы удобнее броситься.

Но лось, по-своему истолковавший эту заминку, вдруг нагнул голову, всхрапнул и кинулся на медведя. Тедди не успел отскочить, и удар сбил его с ног. Тотчас лось поднялся на дыбы, и тут, может быть, и закончилась бы жизнь Тедди, попади ему лось по голове. Но лось не попал в голову, как метил, а попал по плечу. Крепка медвежья кость, выдержала, не сломалась, но где уж теперь драться, только бы живым уйти!

Увидев, что не попал, как хотел, лось опять вскинулся, но Тедди откатился, и лось на этот раз вовсе промахнулся. Тогда лось нагнул голову и ринулся, как в первый раз. Тедди увильнул и отскочил за куст, а лось не мог сразу остановиться. Когда же он повернул за медведем, тот, хромая, что было сил улепетывал вниз.

Победа, небывалая победа досталась красавцу лосю, но ему теперь мало было этого, ему хотелось уничтожить врага или прогнать его далеко. И он помчался следом, легко догнал и еще несколько раз успел ударить на ходу. Потом, будто что-то вспомнив, вдруг остановился и, фыркая, вернулся назад, к лосихам. А несчастный Тедди, весь избитый, забрался в густейший бурелом и долго стонал и сопел, переживая позор своего поражения. Недавно его прогнал бородатый медведь, теперь выживает лось... Хуже всего было то, что ему теперь нужно было опасаться вообще всех лосей: раз его побил



лось, значит, может побить и другой... Жизнь его с этого дня стала несносной. Как назло, следы лосей попадались ему все время. Шел ли он за брусникой, или к муравейнику, или к ручью напиться, — встретив следы, он тотчас сворачивал и уходил.

Но безвыходное положение продолжалось недолго. В нем вдруг проснулись все его дикие предки и свирепо требовали, чтобы он нашел врага и убил его. Он стал кружить по лесу, выслеживая лося, яростно драл когтями землю и деревья, заявляя о своем владычестве, устраивал засады, в которых на долгие часы замирал совершенно неподвижно. Один раз, найдя много свежих лосиных следов у ручья, он залег в кусты и стал ждать.

Он лежал, прикинув к земле, и смотрел меж веток на тропу. Всюду толстым слоем лежали сырые желтые листья. Деревья были голые, и густые темные елки особенно явственно выступали в поредевшем, полупрозрачном лесу. Утром хватил заморозок, но теперь оттаяло. День был хмурый, холодный.

Во второй половине дня наверху послышался легкий хруст и пофыркивание. Тедди поднял голову и потянул воздух: пахло лосями. Уши его прижались, шерсть на загривке поднялась. Он прижался к земле и подобрал под живот задние лапы. Раза два лоси останавливались. Что они делали — прислушивались или срывали ветки какие-нибудь, — этого Тедди не знал, он терпеливо лежал. Наконец из-за кустов показались рога, а потом и сам лось. За ним шли три лосихи. Они остановились, внимательно посмотрели вниз, прядая ушами, потом стали спускаться к водопою: впереди лось, за ним — лосихи.

Все-таки лось зачуял медведя и сразу стал как вкопанный. Тедди выскочил из засады с глухим ревом. Лось всхрапнул и бросился на медведя. Тот успел отскочить и цапнуть лапой лося за бок. Удар когтистой лапы был, казалось, легким, мимолетным, но кожа на боку была сразу сорвана, и показалась кровь. Почувяв запах крови, Тедди озверел. Впервые в жизни захотелось ему рвать живое мясо, услышать предсмертный хрип жертвы. Лось между тем повернулся и опять бросился. Медведь был тяжел, но ударом мощных рогов лось отбросил его, как котенка. Тедди покатился, как в прошлый раз, но теперь на шее лося закровенилась новая рана. Тедди вскочил и издал свой самый великий рев, всколыхнув-

ший все его тело, и прыгнул на лося, норовя наброситься сбоку, так как понял, что рога — такое оружие, против которого он бессилён.

Они продолжали биться, вырывая жухлую мокрую траву и землю, ломая все вокруг себя, но лось явно слабел. Кровь брызгала у него из многих ран, и на холоде он весь дымился. Наконец Тедди удалось прыгнуть на него сбоку. Он вцепился в мощный загривок, одновременно задними лапами раздирая лосю бок. Затем, держась левой лапой и зубами за загривок и рыча сквозь стиснутые зубы, Тедди с силой ударил правой лося по шее и еще потянул вниз, разрывая позвонки, и лось повалился. Медведь разорвал ему грудь, но и с разорванной грудью и сломанной шеей лось еще пытался подняться и сбросить медведя — так он был силен! Урча и кашляя, глотал Тедди кровь мертвого уже врага и не скоро опомнился.

Потом медведь, поминутно рыча, ушел в лес, но вернулся и попытался утащить лося. Тащить было тяжело и неловко, тогда он стал заваливать лося валежником. Закидав кое-как мертвого врага и изрыв вокруг землю, он ушел окончательно. Его никто не учил этому, и прежде он никогда не делал этого, но теперь он знал, что так надо.

Через два дня, уже забыв про лося, Тедди случайно проходил мимо, когда ветер донес до него сладковатый запах. Он тотчас вспомнил все, пришел и наелся. Еще раньше у лося побывали волки — Тедди узнал это по следам, оставленным ими, и поэтому никуда не ушел, а уснул поблизости.

Целую неделю он приходил к лосю и спал тут же, чувствуя, что теперь он властелин всего, что вокруг, и что его территория так же неприкосновенна, как территория бородатого медведя.

13

Но прошло какое-то время, и в последний раз, как застарелая рана, Тедди охватила тоска по человеку. Сила, еще более могучая, чем инстинкт, погнала его вдруг из леса. И он точно так же, как недавно искал уединения и свободы, теперь стал искать встречи с человеком.

Четыре дня шел он к юго-востоку, пока наконец не

вышел на открытое место. Перед ним был огромный пологий холм. На холме ярко зеленела озимь, а около опушки, где остановился Тедди, лежал тракт, часто ка-тили автомашины или медленно проезжали на телеге.

Тедди стоял на опушке, приподнявшись на задних лапах, и раскачивался в тоске по человеку. Но ему не просто был нужен человек, а только могучий человек в белых панталонах. Ему нужно было, чтобы тот подошел и почесал бы ему за ухом и сказал ласково: «Тедди!» — и положил бы своей крепкой рукой кусок сахара ему в пасть.

И так долго стоял медведь, совсем не прежний Тедди, как бы вновь постигая великий, таинственный смысл жизни и одновременно навсегда уже прощаясь с прошлым. Он не вышел на дорогу к людям и не выкинул ни одной из тех утомительных штук, которым научился в цирке. Он безмолвно тосковал. Потом как будто повернулось что-то в нем, будто свалилась с него последняя тяжесть, последняя нить, связывавшая его с людьми, порвалась, и он ушел обратно в лес. Через четыре дня он был снова у себя.

Становилось холоднее с каждым днем. Тедди теперь спал много и ходил редко. По утрам маленькие озера и старицы затягивались звонким ледком. Голод, всегдашний руководитель Тедди, отступал вдруг на задний план, что-то другое все сильнее беспокоило его. В цирке Тедди не давали спать зимой — он должен был выступать. Но здесь он подчинялся лесным законам, законам природы. Он хотел спать. Он все ходил, словно примериваясь, но все казалось ему то неудобно, то открыто.

Однажды ночью выпал снег, и утром было бело, далекие холмы просвечивали, как сквозь дымку, и Тедди еще сильнее захотелось спать. Даже собственные следы на снегу не удивили его.

Раз он устроился под елкой на сухих листьях и проспал три дня, но потом проснулся и снова побрел куда-то, с тоской поглядывая на оживленных, черных на белом снегу ворон.

Наконец он нашел то, что было ему нужно. Это была глубокая яма, засыпанная палым листом и хвоей. Сверху она заросла кустами; кроме того, на нее как раз повалилась спиленная ель. Ель когда-то спилил человек, отпилил себе верхушку, а комель оставил. Хвоя с лап осыпа-

лась в яму, но лапы и без того были так густы, что, когда Тедди забрался под них, он почти не увидел неба. Но ему все было нехорошо. Он опять вылез, стал таскать и наваливать сушняку сверху и только к вечеру залез внутрь. Там он ворочался долго, никак не мог лечь, чтобы было удобно, наконец улегся, и ему показалось, что хорошо, и он начал вылизываться.

Понемногу темнело, шел неслышный снег, и, когда совсем стемнело и снег на вершинах сосен потерял свои последние краски, Тедди уснул.

Что снилось ему?

Снился ли цирк и долгая жизнь артиста, разделенная как бы надвое темнотой коридора и ослепительным светом манежа? Снились ли переезды, вагоны, стук колес, запахи угля и бензина, люди, смеющиеся и яростно кричащие, и человек в белых панталонах?

Или снилась новая, свободная жизнь, сладкие муравьи, звенящие холодные ручьи, страшная гроза, выстрелы, медведь, прогнавший его, битва с лосем?

Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зовущие, мудрые запахи леса?

Кто знает!

Он не проснулся ни на другой день, ни на третий... Снег все сыпал, и с каждым днем пушистей становились кусты, непролазней тропы, белее сосны и ели, и только березы оставались голые, и на них подолгу засиживались вечерами тетерева. Ударили лютые морозы, и пошла гулять по лесам настоящая зима!

А сон Тедди становился все глубже, дыхание было все реже, пар уже не клубился над ямой, и скоро заваленную снегом берлогу можно было угадать только случайно, по небольшой отдушине-жерлу и желтоватому инею на сучьях.

1956



АРКТУР – ГОНЧИЙ ПЕС

Памяти М. М. Пришвина

1

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане.

Странные люди — цыгане. Ранней весной они трогались в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются, — смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уж никогда

не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно только догадываться. Наверно, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело втайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей...

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплему животу, еще напряженному в родовых схватках. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить — такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли: раздавалось только сопенье, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки.

Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жесткому. Когда он дрался с другими собаками — а дрался он множество раз на своем веку, — он не видел своих врагов, он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, — для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, но в судьбу его вмешался человек, и все переменилось.

2

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые

карбасы с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да командированные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким, пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный, влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые крепко стучались о землю.

Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей, но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, и доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшей фистулой он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину — доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаившись возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами с прорастающей меж досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался от-

четливый дробный стук — это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: ду-ду-ду...

Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой.

Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

— Ну, теперь ступай! — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы.

Пес уперся и задрожал.

— Гм!.. — произнес доктор и сел в качалку.

Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза.

А доктор растерянно рассматривал его и ерзал в качалке, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

— Арктур... — пробормотал доктор.

Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

— Арктур! — снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

— Арктур! Иди сюда, Арктур! — уже властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стойков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном — запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост оставливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым, воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда.

3

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал

свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой, с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком — многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали через канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома... Но если животные и люди были еще понятны ему и он, наверно, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И, лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали как музыка, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему: одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать, и он сразу же ощущал свалки и помойки, дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особен-

но любил обнюхивать. В его трещинах и порах задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался исследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины — кто-то перешлывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе не ведомая и не слышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него одна особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие, протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» — подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземи-

стый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровавые белки.

— Гришка! — закричал кто-то сзади. — Бежи скорее вперед, коровы ста-али!

Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его.

— Ах, собака! — злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом.

Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул и его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше.

Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык, ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отзывался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на початые вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктура. В городе все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы: высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом — запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натываясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

— Ах, Арктур! — тихонько говорил я ему. — Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов — белых, желтых, голубых и красных — и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто серыми и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обычно-

венные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке — охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше уходил в лес. Арктур мало-помалу успокаивался и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь он, увлеченный своим важным делом, уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывал в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал... «Кого-то причуял!» — подумал я и остановился.

«Гам! — звонко и неуверенно раздалось в кустах. — Гам, гам!»

— Арктур! — в беспокойстве позвал я.

Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликаю его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застреваю в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в ложину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но тем не менее гнал уверенно, азартно, лалял беспрепятственно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос.

— Арктур! — крикнул я.

Он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило

успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он все-таки удавился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так был он возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.

5

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверно, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, которые так необходимы каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки конечно же был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Лес был ему молчаливым врагом, лес стегал его по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Только запах, дикий, вечно волнуемый, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лапам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и зара-

жает собаку. Он тоже лазит по кустам, бегают, хрипло порскают, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее хмельными глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Миллая!» — и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном своего хозяина и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и, если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» — что тогда выделял этот пес! Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая всё большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши и наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.

6

Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирили, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и, когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистой задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то рав-

номерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек. Иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного ближе и громче.

Я сидел на пне, посматривал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось его молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, и вслушалась в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговину, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, су-

нулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем.

7

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам — они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктур, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах — сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо.

— Погоды-то ныне, погоды... — неопределенно начал он и, крикнув, умолк.

Я догадался и спросил:

— Не за собачкой ли пришли?

— Да и как же! — оживился он и надел шапку. — Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне вот как нужна собачка!

Скоро охоты и все такое... У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что? Сляпой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой!

Я посоветовал ему поговорить с хозяином. Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился.

— Что ж, отказали вам? — спросил я, заранее зная ответ.

— И не говори! — огорченно воскликнул он. — Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник — во, вишь, глаз потерял, — и сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не дает... Пятьдесят рублей сулил — цена-то какова, а? — и не подходи, не дает! Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо! Охоты подходят — собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

— Она где же помещается у вас? — как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом.

— Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я.

Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливно глянул на меня.

— Прости Господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня:

— А голос-то, го-олос! Понимаешь ты — голос! Чистый ключ, я тебе говорю!

Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома:

— Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник... Продаст он мне ее. Святой крест, продаст! До Покрова-то далеко, чего-нибудь удумаем. А ты говоришь... Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

— Что он тут вам говорил? — волновался он. — Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы

заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услышав голос своего хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам.

— Арктур! — сказал доктор. — Ты ведь мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Аркура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

8

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день.

Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах чистой, здоровой собаки... Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктур в глаза не видал. Мало того, вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропаже Аркура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел

собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай... Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день навевались к доктору узнать, не пришел ли, не нашел ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне не верилось, чтобы он мог заблудиться, — для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб... Но как? Где? Этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскуцнел и вечерами долго не спал.

В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Беспольный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что смолodu не стал охотником.

9

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор тончайшим фальцетом распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась, куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клик-кланк», гнусаво сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько

было других запахов — осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа, — всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой наезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой... Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У не старой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока наконец не превратился в голую острую палку.

На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже, не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой, обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут и Дианы, и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы... Но, наверно, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнувшей голубой звезды!

1957



НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ

1

Бежали из лесу избы, выбежали на берег; некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядя заворуженно на море... Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек — далеко слышно; приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пестерем ли в лес идет или так... Ночью белой, странной погонится парень за девушкой, и опять слышно все, и знают все, кто погнался и за кем...

Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у каждой век долгий — все помнят, все знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчита-

ют по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять все видит деревня и вопли женок принимает чутко.

Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне все «зуйки», настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное, в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтый, правый побирюзовей. Глянет — и вот младенец несмысленный, а другой раз глянет — вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать; сам говорит редко, и то вопросами: «А это что? А это почто?» — с отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеется басом, будто немой: «Гы-гы-гы!» Ребята дразнят его: как чуть что, бегут, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно и пахнет крепко сеном, да дегтем, да водорослями сухими.

Стоит конь оседланный возле Никишкиного крыльца. Грыз плетень, щепал крупным желтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю поджал, только вздохнет другой раз глубоко, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать за двадцать верст по сухой воде, мимо гор и мимо леса.

Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на ногах сапоги, на голове шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.

— Ступай все берегом, все берегом, — говорит мать. — В стороны не сворачивай, будут тебе по пути горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблуждайся гляди-дак... Двадцать верст всего — близко!

Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается на седло, ноги в стремя, бровки сдвигает...

— Но-о!

Тронутся конь, просыпается на ходу, уши назад настрочил, хочет понять, что за седок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам затукали: тук-

ток. Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань — у каждого двора своя, — и все разные: хозяин хорош — и банька хороша, плох хозяин — и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло справа море. Конь по песку захрупал, по сырым водорослям. На море косится, глаз выворачивает: не любит моря, хочет все левее забрать, подальше от воды. Но Никишка знай себе подергивает за правый повод, знай пятками по бокам коня колотит. Покоряется конь, по самому краю воды бежит, шею согнул, пофыркивает.

Недалеко от берега — камни. Их много, обнаженных отливом, они черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами, глухо, бессильно рокочут. Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых раковин и пропадают, лижет песок прозрачная волна. Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. Потихоньку слетают, когда Никишка близко подойдет, скользят стремительно над самой водой и вдруг — крылья вверх, хвост веером! — садятся на воду. Сильно светит низкое солнце, блестит под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы плавают впереди в голубой дымке, будто висят над морем.

Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем, в улыбку губы распускает. Глядит на солнце, на выпуклое, огненное море, смеется:

— Солнушко, гы-гы-гы!..

Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря, бегают у самой воды: волна отойдет — они по мокрому за ней, волна обратно — и они назад.

— Кули-кули... — лопочет Никишка, останавливает лошадь, смотрит, какие они подбористые, с клювами, как шило.

А чего только нет на песке у моря! Вон красные мокрые медузы, оставшиеся после отлива, похожие на окровавленную печенку. Есть медузы другие — с четырьмя фиолетовыми колечками посередине. Есть и звезды морские с пупырчатыми, искривленными лучами, а еще — следы чаек, долгие, запутанные, тут же помет их сиренево-белый. Лежат грудками водоросли, тронутые тлением, тяжело и влажно пахнут. А то еще след босой

ноги тянется у самой воды, сворачивает к лесу, топчет-ся возле странной, выросшей в песок темной коряги. Кто это шел? Куда шел и зачем?

А слева все бревна да бревна: белые, вымытые дождями и волнами, выбеленные солнцем, замороженные и вновь прогретые, высушенные. Слышал Никишка, много лет тому назад на большой реке Двине запань прорвало. Весь лес, который был, в море убежал, не могли его поймать, а море выкинуло по берегам. Лежит с тех пор тут лес, никто его не берет, никому не нужно, рыбак разве только да охотник редкий — на костер...

Весело Никишке. А конь все копытами хрупает да фыркает. Ступит иногда с маху на медузу, разбрызгивается она по песку, как редкий камень драгоценный. Пусто впереди, пусто назади, пусто слева, пусто справа. Справа море, слева лес. А в лесу что? В лесу вереск да сосны кривые, маленькие, злые, да березы такие же. Еще в лесу ягоды есть сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми иглами. Медведи в лесу ходят и другие звери, а птицы совсем нет, рябки одни тонко перекликаются. Дед Созон говорит: «Отлетела чегой-то птица. Бывал, побежишь с пестерем-то в лес, полон пестерь набьешь-дак. А ныне отлетела чегой-то птица, Бог с ней, совсем ушла!»

Выбегают из лесу в море реки большие и маленькие. Через большие реки мосты положены. Мосты сгнили уже, нюхает конь бревна, слушает, как внизу вода вывзывает. Ступает шаг, шею выгнет, назад оглядывается.

— Но! — скажет Никишка потихоньку.

Конь еще шагнет. А звук на таких мостах глухой, мертвый, как по гробу, и вода внизу темная, будто крепкий чай. Все реки из болот выбегают, нету чистой воды, вся такая, и море возле впадения рек желтую пену швыряет на песок.

А вон еще что-то темнеет впереди. Подъезжает ближе Никишка: шхуна в песок вросла. Мачт нет, и кили не видно — засосало. Лежит шхуна на боку, палуба сгнила, борта светятся, внутри водоросли с песком, больше ничего нет. Волна подходит, затопляет все, хлюпчит внутри, клокает, булькает, отходит — тонко струйки звенят, стекает вода на камни.

Воля, простор везде, воздух синий, резкий, и никого нет вокруг на много верст. Попадает когда тоня рыбацья пустая, заброшенная. Стены мхом поросли, окошки маленькие — голову только просунуть, крыша осела, прохудилась, да и сама тоня на один бок села, другой задрала, глядит окошками в пустое небо. Вешала повалены, все рушится, только крест старый поморский, черный, восьмиугольный, страшно торчит, будто страж, поставленный навечно, и нет ему смены. Жутко глядеть на такое, отвернись — и мимо, мимо...

Но Никишка не боится. Знает: в таких избушках лешаки живут, смиренные, грустные. Скучно им, спят целый день. И теперь спали, да услышали — едет мимо Никишка, проснулись, зевают, в окошки потихоньку выглядывают. У одного борода черная, у другого — сивая, у третьего — вовсе не поймешь какая. Болбонят — любопытно им, куда это Никишка едет.

А то черное что-то в песок вросло, коряга там или, может, камень темный, бугристый. Конь издали еще заметит, насторожит уши, голову задерет и вот вбок норовит — боится.

— Ты уж вбок не ныряй, — говорит коню Никишка. — Это ничего. Это так, дерево росло, да сгнило, да в песок устрало. Вишь, коряга. Вишь, это тебе ничего.

Конь слушает внимательно, кожей передергивает, фыркает и несет Никишку дальше, все вперед и вперед. Слушается он Никишку, его все звери слушаются.

Вот и горы пошли. Высокие, черные, стеной в море обрываются; на обрывах сосенки да березки корявые лепятся, смотрят в море, ждут горя. А внизу осыпь каменная: камень воду лезет пить. Много камня, громоздко очень. Конь все осторожнее идет, принохивается, выбирает, куда ногу поставить. Шел, шел и уперся, стал, ни вперед, ни назад, ни вбок — никуда. Слезает долой Никишка, коня берет за повод, шагает по мокрым камням. Вытягивает конь шею, прижимает уши, скачет за Никишкой, приседает, щелкают подковы, дрожат ноги. А под ноги ему накатываются со звоном волны. Шшшшш! — набегают. Ссс! — откатываются. Шшшшш! — снова набегают...

Нет, не может идти конь! Чудится ему, разверзается справа водяная бездна, приливает море, шумит, а под ногами камни — не уйти, не убежать! Останавливается

он в ужасе, храпит, скалит желтые зубы. Сердится Никишка, дергает, тянет изо всех сил за повод. «Но-о!» — кричит. Не идет конь, глядит на Никишку фиолетово-дымчатыми дрожащими глазами. Стыдно становится Никишке, подходит он, гладит коня по щеке, шепчет ему что-то ласковое, тихое. Слушает конь Никишкин шепот, звон моря слушает, дышит тяжело, носит боками. Куда идти? Справа море, слева горы, сзади камень и спереди камень. Набирается конь решимости, снова скачет вперед, и снова щелкают подковы.

Наконец выбрались из осыпей, подвел Никишка коня к большому камню, забрался в седло, и опять захрупали копыта по песку, по водорослям. А земля впереди все мысы в море выставляет, будто длинные жадные пальцы. Едет Никишка, впереди далекий голубой мыс, доезжает до него, любопытно: а что там, за ним? А за ним — новый мыс, еще дальше выпяченный в море, там еще и еще, и так без конца.

Началась незаметная тропа, конь сам на нее свернул. Никишка задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы все, что видит, разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только с тоской, впитывая глазами, слушай ушами да нюхай. И смотрит Никишка зачарованный, думает, а тропа все дальше в лес забирается, тихо становится, золотисто. Под ногами коня языки желтые, красные, оранжевые. Мхом пахнет, грибами, янтарные рыжики везде, румяные волнушки. Весь лес горит, елочки только зеленые, да вереск стелется приплюснутыми островками. Красен лес, а из-под земли камни обомшелые, темные и бурые, выпирают, да стоят особняком серые, изуродованные, скрученные елки и березы, странно похожие на яблоню.

Попался бы кто-нибудь навстречу! Но никто не попадает, один Никишка в мертвом лесу. Скоро ли жилье? Не у кого спросить; молчат сосны и елки, загадочно смотрят на Никишку камни из-под земли. Все тут камень да сырость. Только тропа глубоко в земле выбита, старая, глухая. И вспоминает Никишка, — рассказывала бабка, давно это было, — шли по мертвым лесам странные люди, шли беглые, больные, несчастные, обиженные — всякий народ шел. И шли они все к одному месту, в одно место тропы глухие прокладывали, в пресветлую обитель — Соловецкий монастырь. А где этот

монастырь, Никишка не знает, там где-то, где солнышко закатывается, а где, поди-ко узнай!

И вдруг среди этого безмолвия, тишины мертвой, звуков неживых — песня. И слышно, топором кто-то постукивает, слышно, дымком пахнет. Конь — уши торчком, заржал звонко, рысью, рысью вперед: жилье чует. Выезжает Никишка из лесу, перед ним избушка — тоня отцовская. Все новое, все крепко и ладно, из трубы дымок курится, на вешалах сети сушатся, рыбой пахнет, на катках карбас лежит, черным боком маслится. На пороге отец сидит, топором постукивает, весло кормовое ладит да песню поет.

2

Увидел Никишку, встал отец — огромный, бородатый, в высоких сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки у него красные, лицо бурое, борода светлая, а глаза резкие, пристальные, под густыми бровями.

— Сынок приехал! — говорит радостно отец. — То-то сон мне снился... Ну, как же дома у нас там? Все ли живы?

— Живы! — отвечает Никишка, слезает с коня, качается, ногами топает. — Председатель коня дяде Ивану дал, мамка меня послала, я и поехал... Ехал-ехал, весь заболел, спину больно.

— Ах ты, молодец у меня! — ласкает отец Никишку, волосенки льняные ручищей своей гладит. — А я слышу: топ какой-то, а кто такое, и не толкую. А это вон Никишка! Не боялся ехать-то?

— Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то умный. На вот тебе, мамка наклала, — снимает Никишка кису. — А почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются, кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!

— Камни-то? — задумывается отец. — Камни, они, надо думать, тоже живые. Все живое!

— А ты понимаешь, об чем березы говорят?

— Дак они по-своему, по-березьи небось говорят! На-до язык ихний знать. А то где понять!

— А дядя Иван где?

— Дядя Иван на соседнюю тоню поехал, на Керженку. Давеча рыбаки туда бежали на доре, так и его взяли; баня у них там, у нас-то нету ее, вот дядя Иван и поехал.

— А в деревню когда он поедет?

— В деревню завтра поедет, полечится. Ноги-то, вишь, совсем у него разломило, на лошади и поедет по сухой воде.

— А как же?

— Ты со мной останешься... Останешься? Семгу будем ловить.

— Останусь!

— Ну вот! Пойду лошадь расседлаю...

Пошел отец, коня поймал, расседлал, потом веревку вынес, привязал коня к березе, чтобы в лес не ушел. А Никишка в избу заходит: сильно пахнет рыбой, в печке угли тлеют, на столе хлеб, миски да ложки. Стены плакатами оклеены, на полке газеты ворохом лежат; чисто в избе, подметено, на веревке рукавицы, портянки да штаны сохнут. Выходит Никишка, обходит избу вокруг, в сарай заглядывает; сарай открыт, не запирается — не от кого запирать. Только хотел было Никишка в сарай забраться, посидеть, подумать о сегодняшнем, вдруг... Что-то живое в сарае показалось, темно-рыжее, будто тусклый пламень. Глазами светит, в глазах блеск красноватый вспыхивает, как солнце предзакатное. Собака! Большая, лохматая...

Сел Никишка на корточки, смотрит во все глаза на собаку, оглянулся — отец не видит, — заговорил с ней:

— Адя... Уууурр! Гу-гуррр... Гам!

Собака молчит, нюхает, голову набок склонила, одно ухо вверх, другое повисло, хвостом молотит — нравится ей Никишка. Наговорившись, выходит Никишка из сарая, собака за ним бежит, будто век его знает. Смотрит Никишка на отца, какой он большой, красный, солнцем освещенный, как царь лесной.

— Ну, сынок! — весело говорит отец. — Поедем сейчас за семгой! Только постой, весло доделаю.

Отходит Никишка немного, ложится на теплый песок, собака подбегает, рядом ложится тоже, дышит час-то. Закрывает глаза Никишка, качает его, все кажется, на коне едет и чайки бесконечно над морем взлетают, а мимо горы, да леса, да кресты черные, лешаки из избушки выглядывают, болбонят: «Гляди ты! Никишка-

то к отцу едет семгу ловить, чай-сахар везет!» И песню кто-то тонко поет, голос — то распухнет, то утончится, баюкает, солнышко светит, а море все: шшшшш! — накатывает, сссс! — отходит. Тлеющие водоросли крепко пахнут, дурманят голову, а кулики стеклянно кричат: «Пи-пии, пи-пии!»

Лежит Никишка — ни спит, ни дремлет... Песок теплый, собака теплая, смотрит на Никишку огненными глазами, говорит: «Пойдем, Никишка, в лес!» — «Я в море пойду, семгу стеречь!» — Никишка отвечает. А собака свое: «Пойдем в лес, я тебе тайны открою! Об чем березы шепчут, послушаем, что камни думают, узнаем». Любопытно Никишке, сомневается он уже, то ли в море идти, то ли в лес, но тут отец как раз подошел с веслом новым в руке:

— Вставай, сынок, поедем!

Встал Никишка, идет с отцом на берег, а море радуется — вспыхнет, заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налег отец грудью на карбас, столкнул в воду. Никишку посадил в корму, сам сапогами по воде бухает. Но вот и сам в карбас залез, на веслах устроился. Никишке кормовое дал, от берега отвалили, развернулись, и пошло качать-покачивать — вверх-вниз, вверх-вниз. Берег качается, собака на берегу качается... А отец шибко гребет, волна по скулам карбаса плепает, взлетает брызгами вверх.

Подплывают осторожно к ловушке, привязывают карбас к жерди, встает отец, чутко вниз глядит, в тайник, — нет ничего!

— Пусто... — шепчет отец и садится, спокойный.

Оглядывается Никишка — тихо кругом, ни звука, ветерок легкий, ровно дует, солнце светит, слепит глаза море, а берег далеко, темный, в обе стороны уходит. И кажется Никишке, был он здесь, сидел давно годами, семгу ждал, думал о чем-то. Или снилось ему это?

— Прилив начался, — говорит отец. — Вода пошла, прибывает.

— Светла погода, — тихонько откликается Никишка. — Хорошо! Донушко видать...

— А как же! Она донушко светлое любит. Ей камни там или водоросли не надобны. Любит она по дну идти, в полводы. Полная вода или сухая вода — это ей неподходяще, не любит она этого, а идет, говорю, в полводы.

— А это колотушка?

— Это? Колотушка, сынок. Ее бить. Она здоровая, сильная, так не вытацишь, упаришься, вот и бьем мы ее колотушкой.

— А если она выскочит?

— Но! У нас ведь ловушка на то. Вишь, плотно-то? Сеть то есть. Это вот стенки на кольях с оттягами, а внизу... Глянь-ко, глянь!

Свешивается Никишка за борт, руками глаза свои разноцветные огородил, смотрит в воду, в глубину, видит блики зеленоватые на дне, тонкие ячейки сети видит.

— Вишь? Вишь, внизу тоже сеть — это доно. Стенки да доно, это вот тайник, а там ворота, эвон где жерди две рядом торчат, ворота там... Она идет, в ворота зайдет — и в тайник, а в тайнике мы ее бьем. От ворот заезжам, выход загораживам, доно поднимаю и бьем.

— Знаю, — говорит Никишка, вспомнив что-то.

— Я и то говорю, знаешь, — соглашается отец. — Ты у меня все знаешь!

— А почто меня ребята дразнят?

— Они дурачки, не слушай их. Озорники они, все им баловство, а ты хороший, смирный да умный, вот они и дразнят. Не слушай их, ты всех умней.

— Это потому, что я думаю много.

— А ты много не думай и мало не думай, а так: захочется — думай, не захочется — не думай.

— А я думаю вот, куда это вода в море отливает, а после обратно приливает. Реки, те в море утекают, а море куда утекает?

— Море? Гм... — скребет отец бороду, на горизонт глядит, соображает. — Море, надо думать, в горло уходит, в Ледовитый океан. А из океана еще и в другие океаны переливается.

— А много других океанов?

— Много, сынок, и стран всяких много на земле.

— А ты был там?

— Был! В Италии, и во Франции был, и в Норвеге, когда моряком ходил.

— А какая Италия?

— Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, фрукты всякие растут, сладкие да вкусные. Все там черные от солнца ходят, раздетые, а зимы вовсе нет.

— Как нет?

— А так, снегу нет, морозу нет ничего. Солнце круглый год.

— Хорошо! — вздыхает Никишка. — Пожить бы там!

— И поживешь, — говорит отец. — Вырастешь, на капитана пойдешь учиться, дадут тебе пароход большой в Архангельске, и побежишь ты мимо Норвегии, вокруг земли, прямо в Средиземное море.

— А ты капитаном был?

— Нет, я был матросом. Всем я был: лесорубом, охотником, рыбаком, зверобоем...

— Ой, глянь-ко, что это?

— Где?

— Эвон кажется...

— А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть.

— Знаю. А где он живет?

— В море живет. Днем рыбу промышляет, а ночью к берегу плывет, на камнях спит в местах глухих, на съемных коргах.

— А почто его бьют? Его ведь не едят.

— Шкура у него хороша и жиру много. Его легко бить, глупый он; подкрадываются и бьют из винтовки. А ходим за ним всяко: другой раз на карбасах, другой раз на ледаколе. Теперь-то все больше на ледаколе.

— А если темна погода, страшно на карбасе?

— Ой, страшно! Вот вырастешь, возьму я тебя на зверобойку, узнаешь тогда наше северное морюшко. Эвон там, где блестяшки, — показывает отец рукой, — где солнушко стоит, там островок есть махонький, Жижгин называется. Тюлени там стадаются. На Жижгине этом поморы всегда промышляют. Стоит там избушка зверобойная на корге, прибегают туда поморы на карбасах, живут, хлеб жуют, поветрия ждут — погоды, значит. В хорошую погоду в море бегут, тюлешков стреляют, ночью на льдине спят. Бывает, падет темна погода, так уж понесет, так понесет — заревишь на голос, с жизнью простишься. Кто посчастливей, того и отпустит скоро, ветер напеременку пойдет, утихнет, а кого и в горло вынесет, мимо Канина Носа пронесет — да в океан... А там только если с самолета заметят, спасут, а так...

— Семга! — шепчет вдруг Никишка.

— Но! — Встал отец на носу на коленки, наклонился над тайником. — А и верно! Ну, Господи благослови, я буду доно подымать, а ты карбас сдерживай...

Быстро отвязывает отец карбас, гребет по борту в объезд ловушки, к воротам. Заходят со стороны ворот, нагибается отец, руки в воду опускает, Никишка за жердь держится. А в глубине что-то беззвучно мечется — огормное, сильное, живое, — вздрагивают жерди, как струны дрожат оттяги. Шуршит капроновая сеть, подтягивает ее отец к карбасу; Никишка шею вытянул, смотрит вниз. Вот все меньше семге места остается, вот она уже два раза поверху плеснула; держит отец одной рукой подобранное доно, другой колотушку шарит. Нашел, руку вымахнул, ждет, когда ударить можно, а семга бьется все яростней, все сильнее, гулко по дну карбаса стучает, не дается, водой рыбаков окатывает. Вот уже вся она на виду, как в чаще пенной, — могла бы кричать, закричала бы от ужаса. Бьет отец с размаху ее по голове, и сразу все обрывается, обмякает семга, заваливается на бок. Хватает отец ее за жабры, с усилием втягивает в карбас, шлепает вниз, под ноги Никишке. Смотрит Никишка на нее остановившимися глазами, а она еще жива, еще жабры вздрагивают, чешуя еще сжимается — огромная, серебристая рыба, с темной спиной, с загнутой вверх нижней челюстью, с черным крупным глазом.

Опускает отец доно, вытаскивает карбас из ловушки, рукавом лицо вытирает и руки, рыбой пахнущие, вытирает о штаны, весело смотрит на семгу, на Никишку:

— Вот как мы ее!

Никишка бледен, поражен, опомниться не может. И опять привязан карбас к жерди, качается на волне вверх-вниз; молчит отец, сложив на коленях могучие красные кисти рук, отдыхает. А Никишка, привыкнув немного к семге, вспоминает отцовские слова о тюленях...

— Не, я лучше капитаном буду! Не хочу тюленей бить, они смиренные...

— Можно и капитаном, — соглашается отец и смотрит на небо. — Глянь, тучи натягивает, солнушко скрывает. Скоро домой поедет. Можно капитаном, а можно инженером тоже...

— А почто инженером?

— Как почто? Строить чего-нибудь будешь, это — тоже дело! Да вот хоть бы у нас: выстроим дорогу по берегу асфальтовую, причалов настроишь, огни гореть будут, машины гудеть...

Никишка задумывается, глядит на далекий берег: какой он темный, безлюдный.

— Ладно, — решает, — буду инженером.

— Ну вот! Посидим еще — и домой. Там у меня рыбка есть, давеча утром рюжу осматривал по сухой воде, так рыбки немного попало. Ухи мы с тобой наварим да чай вскипятим, оно и хорошо спать-то будет. А теперь давай-ко помолчим-дак... Семгу надо сторожить.

Молчит все: молчит море, карбас беззвучно качает, молчит берег, не доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце скрылось в облаках, потемнело все кругом, запечалилось. И никого нет! Пусто везде, безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаились, да качаются в карбасе два рыбака и с ними семга заснувшая.

3

Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумерки. Зажег отец лампу, между ног ведро поставил с водой, шкерает на уху пятнистую тресочку, темную, горбатую рябшу, тонкую навагу. А Никишка дремлет, наговорился за день, нагляделся, наслушался, накачался, устал — дремлет ему, думается Бог знает о чем!

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все зеленеет и зеленеет на западе, просинь открывается, воздух стекленеет: настает вечер необыкновенной чистоты, со звездами и смутным небесным светом.

Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка встрепнется, слушает вполуха — отец чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах — полуношнике, побережнике, шелонике, обеднике... Большой отец, склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белесые на глаза свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только двигаются, нож сверкает, рыба в ведро с плеском падает, тень отцовская на стене

вздрагивает. Говорит, говорит отец низким голосом. Никишка глаза закроет — видит землю родную с морем, лесами, озерами, солнце видит, птиц молчаливых, зверей странных; кажется ему, вот-вот тайну какую-то узнает, никому не ведомую, слово заветное произнесет, и нарушится молчание, заговорят все с Никишкой, все ему разом понятным станет. Но нет слова, не раскрыта тайна, — слышит Никишка ровный отцовский голос, и еще многое видит он и слышит.

Видит он, что псу рыжему снится, — лес ему снится, звери страшные, неизвестные со всех сторон кидаются. Бежит пес, лает от страха, одно ему спасение — Никишка. Слышит, камни шептаться начинают, море шумит, деревья в лесу шевелятся, крикнет кто-то... Видит, вот отец в шторм на льдине качается, ревит; еще видит — семга огромная, сердитая бережает, по дну плывет, по чистому донушку, а за ней другие — тайник отцов ищут.

Гудят в печке дрова, потрескивают... Отец из избы выходит воду вылить из ведра, слышно, за стенкой ходит, дрова собирает, потом в избу входит, грохает дрова у печки. Вскрикивает пес рыжий, вздрагивает Никишка, глаза открывает.

— Спишь, сынок? — наклоняется к нему отец. — На воле-то не видал, что делается? Ясень какой! Глянь-ко, глянь, поди...

Выходит Никишка — темно, холодно, ветер сырой дует. Солнце давно село, леса не видно, а сверху, между звезд, жемчужно светится продолговатое пятнышко. Будто облачко плывет на страшной высоте, озарено последним светом солнца. Но вот облачко медленно, неуверенно вытягивается в длину, пухнет в середине, выгибается мостом-радугой, между западом и востоком. Смотрит Никишка закинув голову. Дверь хлопает, пес к Никишке подбегает, за псом отец выходит, тоже голову поднимает.

Неясные тени начинают ходить по облаку, цвета меняются, все синеют, все густеют — от молочного к синему. Кажется Никишке, напрягается облако, силится рубиновым огнем загореться, заполыхать вместо ушедшего солнца. Все сильнее мерцают краски, все больше света сверху льется, но напрасны усилия, все гаснет, и опять большие, смутные тени передвигаются печально по световому мосту.

Смотрит Никишка, смотрит отец и молчит, пес смотрит и тоже молчит. Молчит и лошадь, заснула возле березы. Все молчит, одно море светлеет от небесного огня и шумит, шумит...

Вот совсем гаснет свет, идет Никишка в теплую избу, забирается на кровать с ногами; пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник ставит.

Скоро Никишка спать ляжет, и приснятся ему необыкновенные сны. Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдет, камни и горы, конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся на тонких ножках, семга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова Никишкиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой души.

1957



ОЛЕНЬИ РОГА

1

Уже много дней живет она в доме отдыха на берегу моря. После долгой болезни приехала она сюда и первые три дня не выходила из дому, сидела на гулкой холодной веранде, грустно смотрела на прыгающих по соснам белок.

На четвертый день она просыпается рано утром, когда за окном стоит еще полутьма медленного весеннего рассвета. Она одевается, выходит на крыльцо и начинает розоветь от холода, от запаха мартовского снега, от вида поросших соснами холмов, от утренней чистоты и тишины. Она осторожно сходит на подтаявшую вчера днем и замерзшую за ночь дорожку, расставив руки, делает несколько шагов. Льдинки хрустят, звенят у нее под ногами. Этот хруст и звон прозрачен, громок и что-то напоминает ей, давно забытое, до сердцебиения слад-

кое и тайное. Не оглядываясь, она все дальше уходит от дома, поднимается на холм, видит внизу замерзшее море с темной полосой свободной ото льда воды у горизонта, видит, как постепенно все светлеет кругом и как наконец встает солнце, еще неярко-белое, еще бессильное.

Возвращается она пахнувшая морозом и, когда проходит столовой, здороваются с отдыхающими, — низко наклоняет лицо, прячет улыбку, прячет одурманенные глаза.

Как все выздоравливающие, она делается беспричинно счастлива, и счастье ее особенно свежо и остро, потому что ей шестнадцать лет, потому что глаза ее загадочны, темны и влажны, потому что она одна и свободна, а воображение ее наивно и романтично. И еще потому, что необычайным, сказочным кажется ей все вокруг.

Каждое утро восторгом сотрясает ее глубокий добрый голос диктора: «Руна Рига! Парейс лайкс...» Каждое утро, хрустя каблуками, ставя ноги во вчерашние свои следы, идет она к холмам, — вытягиваясь, закидывая тонкое лицо, ломает вербу и ставит ее дома в вазу. И все дольше бродит совершенно одна в сосновых борах, выходит к морю, замирая от страха, идет по льду и наконец останавливается, еле переводя дух, боясь пошевелиться, чувствуя, как покачивается, волнуется лед.

Потом она идет обратно и с задумчивым любопытством осматривает заколоченные на зиму пустые дома. Ей делается отчего-то жутко-весело, как будто входит она в фантастический мир сказок, которыми, стыдясь, втайне от всех, зачитывается еще и сейчас. Она ни с кем не знакомится в доме отдыха, только аккуратно здоровается тонким голоском, едва не приседая по-школьному, пламенея, смущаясь, боясь взглянуть на того, с кем поздоровалась.

Ее одиночество, свобода, ее прогулки нравятся ей все больше, она боится даже думать о времени, когда придется ей уезжать отсюда. Но чем чаще она уединяется, чем взрослее, строже хочет казаться на людях, тем больше видна в ней девочка.

Однажды ее встречает молодой лыжник. В вязаном свитере, с тонкими сухими ногами, — он замедляет бег, останавливается и долго смотрит ей в спину. А она спешит пройти, упорно глядя себе под ноги, стараясь притвориться рассеянной, не замечая, какой пугливой де-

лается вдруг ее походка. С этого дня он часто прибегает сюда на лыжах, взлетает на холмы, оглядывается, но больше уже не встречает ее...

Стоят в лесу дома, один красивее другого, светит солнце, лежат у заборов, у деревьев сине-зеленые тени, прыгают по соснам белки, зеленеет, желтеет на бетонных столбах оград плотный мох. А ночью тягуче вызывают часы-куранты на кирхе, редко в два тона гудит электричка, потрескивает дом, шуршит в водосточной трубе лед и шумит вдали море. Остро, колко пахнет зернистым снегом, сосновой корой и горькими липкими почками. С каждым днем все продолжительнее, все стекляннее вечерняя заря, все глубже и холоднее по тону небо над ней, все синее и пронзительней на востоке звезды. А когда закат погаснет, подернется слабой желтизной, переходящей в зелень, в лиловость, — черными тогда кажутся на его фоне деревья, дома с прозрачными верандами, кирха и крест на ней.

Ночью девочка летает во сне над холмами, слышит тихую музыку, и у нее щемит сердце от страха и восторга. Проснувшись, чувствуя головкружительную легкость, она важно думает о том, что с ней происходит. А происходит с ней что-то необычное, совсем ей непонятное. Она почти не отвечает на письма, она влюблена в глухие боры, в музыку, в одиночество. Она любит заброшенность, безмолвие, любит тихие солнечные поляны, заросли краснотала, сизо-серебристые канадские ели, каменные мрачные гроты в холмах.

Вечерами в доме отдыха, в гостиной со старинной мебелью растапливают камин. Трещат поставленные стоймя березовые дрова, пляшут на стенах багровые пятна, слегка пахнет дымом, и светятся большие холодные окна, выходящие на запад.

А она уже ждет этой минуты, на цыпочках спускается в гостиную, забирается в кресло и смотрит в огонь огромными блестящими глазами. Иногда, оглянувшись на окна, прислушавшись к говору отдыхающих в далекой столовой, она подходит к ореховому кабинетному роялю и открывает крышку. Клавиши рояля смуглы от времени, туги и холодны. Нажав на скрипящую педаль, она ударяет по клавише и слушает томительный, затихающий звук. Ей хочется вспомнить музыку, слышанную во сне. Она подбирает аккорды, пальцы ее холоде-

ют, ее знобит, ей кажется уже, что вот-вот она все вспомнит... Нет, все не то, не так, все не похоже! И, осторожно закрыв крышку, подышав на лак и оставив на нем туманное пятно, она опять забирается с ногами в кресло, опять рассеянно смотрит в огонь, слушает треск, с наслаждением ощущает странно-печальный, какой-то домашний запах березового дыма. «Что со мной? — изумленно думает она. — Отчего так болит, ноет сердце? И отчего эта боль так сладка?»

С некоторых пор ее внимание привлекает один пустой дом. Стоит он на большом участке, под деревьями, и еле виден из-за ограды. Двери его забиты, окна закрыты деревянными жалюзи, крыша под темной черепицей высокая и остра, крыльцо занесено снегом — оттаяли только верхние ступени. Под окном в мезонине прибиты к стене лаково-коричневые рога оленя, а окно почему-то не загорожено и вместе с верандой бледно отсвечивает на закате. Снег вокруг дома нетронут, чист, участок особенно велик, особенно глух, ограда особенно высока и прочна. Только в одном месте выломаны планки, и в дыру лазят собаки. Оставляя глубокие отчетливые следы, все они бегут к старой кряжистой сосне, а от нее — веем куда-то в глубь участка.

Оленьи Рога — так называет девочка дом и участок вокруг него. И почти никуда уже не ходит, а идет каждый раз к Оленьим Рогам, с удовольствием видит свои вчерашние следы, убеждается, что никто больше не побывал здесь, садится на пень, подтыкает под коленки пальто и замирает.

Она думает о заколоченном доме. Она воображает его пустые, гулкие, сумрачные комнаты, тишину по ночам, тонкие лунные иглы, пробивающиеся сквозь ставни.

А поляна полна блеска, света, солнце напекает так, что тает смола на солнечных сторонах сосен, стволы верб потеют, стоят в темных талых лунках, и пушисты уже, туманно-сизы и гибки их набухшие ветки.

2

Случается это в день, когда особенно тепел и прян весенний воздух, особенно кружится, туманится голова и томительно замирает сердце, — девочка вдруг тихо ахает, закрывает рот руками и смотрит во все глаза на дом:

наверху, в мезонине, отворяется окно и наружу выглядывает человечек!

Он вылезает задом, достает ногами до оленьих рогов и крепко хватается за отросток. Тотчас же просовывается через окно длинная тонкая лестница. Человечек устанавливает ее и первым спускается вниз, на крыльцо. За ним следом спускается другой. «Да это же тролли! — догадывается она. — Волшебные карлики! Они живут в этом заколдованном доме!» И, пригнувшись, приоткрыв рот, она следит блестящими глазами за обитателями дома.

Одеты они в старинные одежды: чулки и короткие штаны, длинные лиловые камзолы. Оба бородаты и важны, оба в красных колпачках с кисточками, оба курят старинные голландские трубки. Усевшись рядом на верхней теплой ступеньке крыльца, они свешивают ноги, поднимают лица к солнцу и замирают. Только то у одного, то у другого вылетают изо рта, из зеленоватых бород клубочки дыма.

Дым несет в сторону спрятавшейся девочки, она чувствует странный аромат юга, благоухание тропиков, она часто, глубоко дышит, а воздух дрожит, струится, шорохи слышатся со всех сторон — падают с елей и сосен комки снега... Тролли вдруг встают и деловито, друг за другом, идут по синему снегу к зарослям вербы. Там они долго нюхают что-то, выкапывают и рассматривают, поднося близко к глазам, какие-то корешки. Потом вытирают руки и начинают играть, кидая друг в друга пушистыми шариками вербы, бегают неторопливо, с достоинством, сохраняя на лицах задумчивую важность и не выпуская изо рта трубок. Наигравшись, они бредут к крыльцу, поднимаются в окно, втягивают лестницу внутрь. Окно захлопывается, и дом опять кажется необитаемым.

Еле переводя дух, одурманенная солнцем и дымом из трубок троллей, тихая и строгая, девочка идет домой, больше всего боясь, что по лицу ее узнают, что с ней произошло, начнут расспрашивать, допытываться... И весь день она сама не своя, смотрит на все вокруг совсем одичавшими глазами, мучаясь сомнениями, уже не веря тому, что видела, и еле может дожидаться ночи. А ночью она ложится не раздеваясь и думает о троллях. Ей не спится, голова горит, пересыхают, трескаются губы. На кирке бьют куранты, дом отдыха безмолвен, но ей ка-

жется, что кто-то ходит по комнатам, заглядывает в окна, трогает клавиши рояля в гостиной.

Изнемогая от волнения, страха, от радостного озноба, она встает, прислушивается, замирая и оглядываясь, выходит на крыльцо и опять, как и в первый раз, болезненно поражается тишине, острым синим звездам и запаху снега.

Боясь оглянуться, бежит она парком, запыхавшись, выбегает на улицу и идет мимо спящих домов, мимо магазинов с запертыми ставнями, под фонарями, постукивает каблуками по рубчатым каменным плитам тротуара и наконец сворачивает к морю, к лесу, к Оленьим Рогам.

Остаются позади фонари, сразу гложет и голубеет все вокруг, подступают к тропинке черные сосны и ели, становится виден свет луны. У оград лежат резкие глубокие тени, снег сияет и как будто дымится.

Подойдя к Оленьим Рогам, она поднимается на цыпочки, смотрит в глухую тьму частых деревьев: сквозь жалюзи дома пробивается свет. Будто во сне, идет она вдоль ограды, доходит до выломанных планок, нагибается, пролезает в дыру. Сначала она широко и редко шагает по залубенелой тропе, протоптанной собаками, потом сворачивает напрямик к дому. Снег плотен, зернист, глухо хрустит под ногой. Хруст его похож на звук разрезаемого арбуза.

Она подходит к дому и останавливается. В доме горит огонь, из трубы поднимается прозрачный дым, по снегу бегут слабые шевелящиеся тени. Внутри играют на флейте, на незнакомых струнных инструментах. Звук флейты, пустой и нежный, размеренные, глуховатые аккорды струн выпевают, наигрывают старинную мелодию, изящную и медлительную. Но ведь это та самая музыка, которую слышала она во сне! И она тотчас же вспоминает свои легкие призрачные сны, узнает все, как она летала здесь, перелетая с холма на холм, отталкивалась, плыла в воздухе между редких сосен, в дымных столбах лунного света, и наигрывала, наигрывала нечеловечески прекрасная музыка...

Она подходит еще ближе к дому и видит сквозь косые прорезы ставней трепещущий шафранный свет на потолке, уродливыедвигающиеся тени. Крепко прижав руки к груди, она заглядывает в щель ставня.



Горит, рубиново пылает большой камин, стоит посреди комнаты грубый стол и такие же неуклюжие, высокие стулья. На столе — бочонок с вином, оловянные кружки, круглые головки сыру. За столом сидят тролли. Их много, все они бородаты, все комично-серьезны и важны, пьют, едят, играют в карты и курят. С такими же важными лицами сидят на обрубках возле камина другие тролли, и самый древний из них, нагнув на глаза колпачок, отведя в сторону и согнув острым углом руки, играет на флейте. Остальные серьезно, печально перебирают струны инструментов, похожих на лютни. И лишь лица танцующих немного оживлены. Танцуют они по-старинному, движения их плавны и округлы, поклоны изящны и почтительны. А комната полна дыма, озарена светом тонких розовых свечей в медных подсвечниках. «Что все это значит? — думает девочка. — Что за волшебный дом! И что, если я войду к ним!»

Она отходит от окна, поднимается на крыльцо и толкает дверь. К ее удивлению, дверь подается, музыка становится отчетливее, громче, будто звучит, играет сам дом, будто поют его старые балки и танцует мебель, оставленная хозяевами.

Девочка проходит веранду с разноцветными стеклами, ощупью идет по коридору, робко открывает дверь в комнату, где веселятся тролли, — и сразу меркнет огонь в камине, обрывается музыка, вздрогнув, останавливаются танцующие. Дико и грозно смотрят тролли на нее. Она хочет сказать им что-то хорошее, приветливое, шепчет губами, но не может сказать, не может произнести ни звука. Зато глаза ее сияют, зато лицо ее пылает от смущения, любопытства и радости, вся она тянется к троллям, и они сразу успокаиваются.

Но потаенность их жизни нарушена — они встают, убирают еду со стола, собирают карты, открывают люк, гасят свечи и огонь в камине и по очереди, серьезно и медленно, кланяясь каждый внезапной гостье, уходят под пол.

Остается один только тролль, самый старый, самый важный и уродливый, тот, что играл на флейте. И она вопросительно, умоляюще смотрит на него, ждет, что он ей скажет. Но ничего не говорит он, подходит к люку с последней свечой в руке и тоже начинает спускаться. В последний миг он оборачивается и пристально смотрит

на нее. В его взгляде тайная доброта, обещание чего-то прекрасного, чего-то необыкновенного. Что-то говорит он ей глазами, своим тысячелетним мудрым лицом, своим веющим знанием печалей и радостей жизни, но она не понимает его, и ей больно от этого. Он же прикладывает палец к губам, значительно качает головой, дует на свечу и захлопывает над собой крышку люка.

С трудом выходит она в темноте на крыльцо и садится на ступеньку. Щеки ее горят, сердце колотится. «Почему он мне ничего не сказал? — горько думает она. — Ах да! Они ведь не могут с нами говорить... А он хотел сказать, я это видела. Ужасно интересно!»

Внезапно она чувствует чье-то присутствие за спиной, оборачивается и снова видит старого тролля. Опять он смотрит на нее с задумчивой доброжелательностью, лицо его теперь, при лунном свете, еще более значительно-таинственно, умно и веще. Но он так мал и хрупок, что ей хочется погладить его бороду и потрогать шапочку. Молча он кивает ей, прыгая со ступеньки на ступеньку, спускается с крыльца, оглядывается, манит ее. Она встает и послушно идет за ним. Он подходит к окну, в щель ставня которого она увидела веселящихся троллей, и показывает на него рукой. Замирая от предчувствия, она заглядывает в щель и тихо вскрикивает.

Вместо комнаты она видит солнечный день, холмы, поросшие соснами, и знакомого лыжника, беззвучно скользящего с холма на холм. Она видит его разгоряченное решительное лицо, его сильную худую фигуру, видит, как далеко он выбрасывает лыжи и как резко толкается палками.

Наглядевшись, она поворачивается к троллю, но того уже нет, все глухо кругом, ярко светит луна, широко раскрыли свои мохнатые ресницы изумрудные звезды, и падают, падают с елей и сосен шапки снега, повисая в лунном свете легчайшими столбами снежной пудры.

3

На другой день она просыпается поздно, когда солнце уже дымно бьет в окно, лежит, расчерченное переплетом окна, палевым квадратом на полу. И опять несказанно радуется, поражает ее новый день, голос диктора:

«Руне Рига!», свежий морозный воздух из форточки, запах кофе и тепло дома. Все утро она поет, танцует, когда никто не видит, подражая троллям, и падает лицом в подушку в приступах беспричинного смеха.

А после полудня, не вытерпев, снова приходит к Оленьим Рогам, боясь даже посмотреть, повернуть лицо в сторону дома. Ей кажется, что тролли рассердятся, если опять увидят ее здесь. Но она уже ничего не может поделать с собой. Неуверенно смахивает она красной варежкой пушистую утреннюю порошу, садится на пень и, вздохнув несколько раз открытым ртом, набравшись решимости, поднимает глаза на дом.

Дом необитаем, жалюзи его глухи, тускло блестят олени рога на стене, окно в мезонине закрыто. Троллей нет! Она ищет свои ночные следы на снегу, но следов не видно, и у нее обрывается, падает сердце от горького разочарования. Значит, она не приходила сюда?

Она вскакивает, бежит к ограде, уже не таясь пролезает в дыру, нагибается, пристально рассматривает, даже щупает ослепительный, ровный снег. Нет, ничего нет — одна заледенелая собачья тропка к сосне! Она подходит к дому, обходит его, трогает дверь, узнаёт окно, на которое показывал ей тролль, ищет щель, но ставни плотны, а дверь наглухо заколочена. И нигде никаких следов, и не было троллей, не было музыки, свечей, пылающего камина... И впервые ей становится невыносимо больно и одиноко, и она плачет, стирая варежками слезы со щек.

Среди сосен показывается лыжник, стремительно слетает с холма, поднимая снежную искрящуюся пыль, взбирается на другой и скатывается уже с него, чтобы взобраться на третий и так бежать вдоль моря, вздымаясь и пропадая.

Она сразу узнаёт его, прячется за угол дома и, всхлиывая, следит за ним. Она уже ничему не верит и, когда лыжник исчезает в лесу, идет, вытирая слезы, посмотреть, остались ли после него следы.

Поднявшись на холм, набрав в ботинки снегу, она видит глубокий пушистый след, круглые ямки и чирканье палок, изумленно оглядывается и узнаёт все, что показал ей тролль: прекрасный мартовский день, голубые ели, темно-зеленые сосны, совсем освободившееся ото льда море, — ей делается радостно, она опять верит в чу-

деса, в сны и сказки, она улыбается, поднимает порозовевшее, похорошевшее лицо, вытягивает шею, прикрывает влажные еще ресницы, кричит: «Эге-ге-аой!» — и с восторгом слушает звонкое, крепкое эхо.

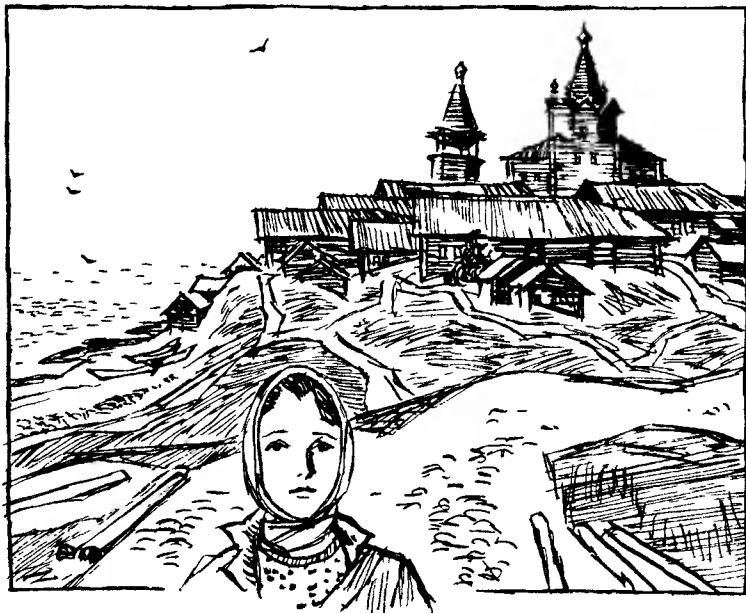
И сразу, услышав этот ликующий зов, тормозит палками и останавливается лыжник, поворачивает назад разгоряченное бегом лицо, ждет и, не дождавшись ничего, резко, разбрасывая снег, перекидывает лыжи и мчится назад по своей лыжне.

А она с колотящимся сердцем стоит, спрятавшись за сосну, прислушивается, ждет ответа, — счастливая, в запахнутом пальто, в красной, почти такой же, как у троллей, шапочке, с обнаженной тонкой шейкой, с большими темными глазами на пылающем лице.

Какого ответа спрашивает она у сосен, у моря, у весны? Почему снится ей музыка и почему летает она во сне? Почему так важно было ей, что скажет тролль? Почему у нее такое лицо, с такой улыбкой встречает она каждый новый день и так уверенно и страстно ждет чего-то?

И кто найдет ее, кто угадает, чего же она ждет?

1958



МАНЬКА

Посвящается К. Г. Паустовскому

1

От Вазинцев до Золотицы — тридцать верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мхом, травой, даже грибами. Маньке кажется иногда: не ходи она каждый день с почтой по этой тропе, все бы давно заглохло — блуды потом по лесу!

Манька — сирота.

— Батюшка в шторм потонул, — говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком, — а матушка на другой год руки на себя наложила. Порато тосковала! Вечером раз вышла из избы, побегала по льду в море, добегла до полыньи, разболоклась, одежду узелком на льду сложила и пала в воду... — И, покраснев, невнятно договаривает: — У меня матушка дикая была...

Дикость какая-то, необычность есть и в Маньке. Дре-

мучесть, затаенность чувствуются в ее молчании, в неопределенной улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими, странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели — пугались.

Года два уже работает Манька письмомосцем. В свои семнадцать лет она прошла так много верст, что, наверное, до Владивостока хватило бы. Но работу свою она любит. Дома неприглядно, пусто, скучно: скотины нет, сквозь давно не чиненную крышу повеи глядит небо, печь полгода не топлена.

Худая, высокая, голенастая, ходит Манька легко и скоро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается, худеет лицо, и еще зеленей, пронзительней становятся глаза.

Дует в лицо ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой.

Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов. Тогда надевают на спину Маньке большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его.

— Ну как, девка? — кричит тенором начальник почты. — Дойдешь ли? Может, за лошадью послать?

— Ничего... — сипло отвечает Манька, розовеет лицом и шевелит лопатками, поудобнее устраивая пестерь.

Уже через версту начинает ломить у нее спину и тягелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тонях! Какое оживление, веселье разгорается, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции и как любят рыбаки Маньку в такие дни!

— А ну, девка! — кричат ей. — Скидывай пестерь-то, поспеешь еще дак... Садись с нами уху хлебать!.. Митька, ложку!

И кидается какой-нибудь белобрысый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутливым низким поклоном подает Маньке.

— Семужки, семужки ей поболе! — покрикивают с разных сторон.

И, краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя заботу и любовь к себе рыбаков.

Зато с газетами и письмами идти хорошо, не режут плеч лямки пестеря; чего только не насмотришься в дороге, о чем не надумаешься! В три рыбацких тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и никогда не обманывает она ожиданий: вовремя зайдет, попьет чаю с брусникой, расскажет новости, отдаст почту, к вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром, захватив обратную почту, идет к себе в Вазинцы.

2

Первая от Вазинцев тоня называется Вороньей. Жили там четверо рыбаков со стряпухой, а с лета, когда ночи стали золотеть, прибавился пятый — Перфилий Волокитин.

Черноволосый, стриженный, с крепким маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел подаваться в город, но вдруг загулял с Ленкой — самой красивой и озорной девкой в деревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, — решил остаться и попросился на Воронью рыбаком.

Принес он на тоню гармонь, часто играл, бездумно глядя в море, был постоянно и ровно весел, был по-солдатски чуток, расторопен, охотно брался за самую тяжелую работу, а вечерами брился, подшивал к гимнастерке ослепительные подворотнички, чистил сапоги, надевал набекрень фуражку и уходил в деревню, в клуб, возвращаясь каждый раз на рассвете.

Был он еще силен и буен, ловок, неумоим в танцах, был находчив и насмешлив в разговоре, и Манька, встречаясь с ним в клубе, отдавая ему письма и газеты, стала вдруг краснеть и опускать глаза. Ночами, дома и в Золотице, стала она плохо засыпать — подолгу думала о

Перфилии, вспоминала его лицо и голос, его слова и смех, воображала с пылающими щеками, что живет она с Перфилием в высокой новой избе окнами на море и все у них есть, и, заснув, колотилась коленками в стену, бормотала во сне.

Она спала в Золотице, в душевной, натопленной избе, где ночевали еще человек восемь — бригада плотников, — когда под утро ей приснился вдруг Перфилий. Ярок, необычен и стыден был этот предрассветный сон, и Манька сразу проснулась, широко раскрыла свои зеленые глаза, вскинулась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме колотящегося сердца.

Вскрапывали спящие на полу и на лавках плотники, тлела за потными окошками белая ночь, и неслышно давила, всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, детскому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли, что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рассвете, сморенная, измученная, заснула она с мокрым от слез лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха, вздрагивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос, сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди.

Вся сомлев, полуживая, уходила она от Вороньей, понемногу прибавляя шагу, чуть не бежала, забираясь в глушь, падала лицом в сухой белый мох и долго сладко плакала от радости, от любви, от одиночества и непонятости. Несколько раз блудила она в лесу, шла куда глаза глядят, улыбалась, разговаривала сама с собой.

А иногда выходила к морю, садилась на камень, сжималась в комок, пригретая солнцем, смотрела на чаек, на сине-зеленую гладь моря, раскачивалась и бормотала: «Чаечки, чаечки... Донесите вы к нему мою любовь!» И вспоминалась ей, как сквозь сон, старая ее бабка, давно умершая, давно ушедшая из этого мира, вспоминались ее сказки, ее вопли, и приходили сами собой, уверенно выговаривались дикие и вещие слова: «Стану я, раба Божия Манька, благословясь, пойду перекрестясь... Из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чисто поле... Так бы и он скрипел, и болел, и в ог-

не горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни есть!» Жутко становилось ей, громко стучало сердце, потели ладони, и особенно желанным, особенно недоступно-красивым был для нее в эти минуты Перфилий!

Море было неподвижным, шелковистым, едва заметно поднималось и опускалось, будто дышало. Небо затягивало легкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, светило мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом, падали в море веерообразные, бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно теплое...

3

Однажды, уже в сентябре, Манька, еще более одичавшая за лето, подошла к тоне и настороженно остановилась. День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошел короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу осенний вид, скупо, бледно отсвечивала стеклами. Особенно много навалило на берег в этот день водорослей, особенно много было на песке влажно-алых медуз, буро-желтых мелких звезд...

Вчера к вечеру попало в ловушки много семги; сегодня в Вазинцах был престольный праздник, стосковавшиеся рыбаки погрузили семгу в карбас, и все вместе поехали сдавать ее на рыбоприемный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Поехал вместе со всеми и Перфилий; вечером пошел в клуб, послушал гармошку, сам немного и пренебрежительно поиграл, потом бросил, стал грызть подсолнухи, стал особенно громко острить; потом выпил с ребятами на улице, темные красивые глаза его начали косить, голос слегка охрип. Он все больше возбуждался, расталкивал ребят и девок, враскачку входил в круг, закинув суховатое маленькое лицо, лениво прикрывая глаза, постукивал, поскрипывал хромовыми сапогами и равнодушно, под радостный гогот ребят и притворную ругань девок, выпевал похабные частушки...

И весь вечер хищно, трепетно следил за Ленкой, и что

бы ни делал — делал ради нее. А когда всех выгнали из зала, стали расставлять лавки и продавать билеты в кино, он нашел ее в толпе, крепко схватил за руку, вывел в сени, где хрустела под ногами подсолнечная шелуха и пахло уборной, прижал к стене и, все больше бледнея, кося глазами, зашептал:

— Пойдем к тебе... Что ж ты со мной делаешь? Пойдем, дома посидим...

— Дома я всегда насижусь, — бойко, равнодушно сказала Ленка, не глядя на Перфилия, жадно прислушиваясь к тому, что делалось в клубе.

— Не хочешь, значит? — с угрозой и бессилием прошил Перфилий, вдыхая запах пудры и волос Ленки. — Другого нашла? Из морячков, да? Смотри, не пожалела бы! Смотри, потрешь на кулак слезы...

— Пусти! — шепотом приказала Ленка, грубо и сильно рванулась и, не взглянув на Перфилия, ушла опять в клуб, сильно хлопнув дверью. А Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестоко-красивое лицо и как нагло, вызывая покаяние она на ходу бедрами.

Он вышел на темную улицу, освещенную редкими фонарями, на бодрящий холод, отрывая пуговицы, растегнул гимнастерку, снял фуражку и пошел домой, вздрагивая от ярости и стыда, крепко стуча сапогами по деревянным мосткам. Из дому, не слушая уговоров матери, захватив с собой бутылку водки, хлеба и сала, он спустился к морю, сел в карбас и через два часа был у себя на тоне.

Он вошел, разгоряченный злобой греблей, зажег лампу, не присаживаясь к столу, налил стакан водки, выпил и сжал зубы, моргая, ероша отросшие за лето жесткие волосы. Потом вышел из избы, сел на бревно, закурил и долго остекленелыми глазами смотрел в темноту, в холод моря, туда, где летом катился ночью по горизонту огромный тускло-багровый диск солнца и где теперь все чаще дрожали, зыбко светились и устало потухали голубые столбы северного сияния.

И когда утром, настороженная необычной тишиной, вошла в избу Манька, Перфилий спал на своей койке в углу, раскинув ноги, с заголившимся мускулистым животом, завернув голову телогрейкой. Услышав стукнув-

шую дверь, он проснулся, тупо посмотрел на Маньку, потер лицо.

— А! Пришла... — сказал он хмуро и сел к столу, обхватив голову руками. — Письма есть?

— Нету... — Манька опустила на лавку, стыдливо поджала ноги и перевела дух.

— Нету! А чего принесла?

— Газеты. — Манька кашлянула и облизала губы.

— Газеты! — Перфилий мрачно посмотрел в окно. — Шторм будет! Как бы ловушки не сорвало... В деревне-то чего у нас? Уехали, гулять им надо!

Он тяжело поднялся, пошел к ведру напиться, оглядывая съезжившуюся фигуру Маньки.

— Чего это ты сегодня какая-то... — невнятно спросил он и, закинув голову, раздувая горло, стал пить.

— Какая? Никакая... — прошептала Манька, краснея до смуглоты, наклоняясь, разглаживая платье на коленях.

— Все одна живешь?

— Одна...

— Скучно одной-то, — без выражения сказал Перфилий, глядя в окно.

— Живу... — Манька слабо двинула рукой, кашлянула, встала, подошла к ведру и тоже стала пить, наслаждаясь от мысли, что пьет из той же кружки, из которой только что пил Перфилий. — Идти мне надо, — сипло сказала она, снова садясь и поднимая на Перфилия испуганный взгляд; но Перфилий не слышал ее — смотрел в окно и молчал.

— Шторм идет! — сказал он глухо. — Метеористы чертовы! Три балла сегодня по метеосводке...

Манька тоже взглянула в окно. Море потемнело, билось в берег, ветер посвистывал в вешалах. Волны шли быстро, пенясь, налезая друг на друга, а по горизонту росла, приближалась черно-лиловая полоса.

— Шторм идет, а они гулять поехали! — горько и грубо повторил Перфилий, вспомнив Ленку; пошел за занавеску, стал натягивать брезентовые штаны и куртку.

— Куда ты? — спросила Манька, обмирая. — Куда ты, ай утонуть хочешь?

— Куда! Ловушки в море стоят, выбирать надо! — пробормотал Перфилий и вышел вон.

Манька, приоткрыв рот, прислушалась к ветру, по-

том глянула в окно на полосу, которая значительно расширилась за эту минуту, и опрометью выскочила вслед за Перфилием. Ветер туго ударил ей в лицо. Перфилий возился у карбаса, когда Манька подбежала к нему.

— Ну? — Перфилий недовольно повернулся к ней и, не дожидаясь ответа, стал спихивать карбас по каткам к воде.

— Я с тобой, — сказала Манька и тоже уперлась плечом в карбас.

— Еще чего! Детский сад! — заорал Перфилий, когда карбас уже прыгал и бился по песку. — Пошла в избу!

— Не пойду! — Манька вцепилась белыми пальцами в борт. — Чего я, моря не видала?

— Ну так прыгай! — весело вдруг и с какой-то отчаянностью закричал Перфилий и оскалился: — Лезь!

Манька ловко вскочила в карбас, падая с борта на борт, пробралась на корму. Перфилий, побагровев, оттопыривая зад, по пояс в воде, толкнул карбас, подпрыгнул, упал животом на борт, перевалился внутрь, схватил весла и стал заворачивать карбас на волну. Через минуту они уже ходко шли, поднимаясь и проваливаясь, к черным кольям ловушек, поставленных метрах в двухстах от берега. Манька сильно подгрребала, слызывая с губ соленые брызги, ветер раздувал ее волосы. «Платок забыла! — думала она. — Ой, потонем мы, ой, ветер порато дует!» И влюбленно глядела в закинутое, решительное, красное от напряжения лицо Перфилия.

Подошли к первой ловушке и с ходу, спеша, боясь даже глядеть на приближающуюся черную полосу, стали вытаскивать кольца и укладывать их вместе с сетью в карбас. Манька то подтягивала сеть, то выбрасывала черпаком воду. У нее скоро заломило руки и ноги, платье намокло, задралось, оголились пятнистые от холода, крепкие узкие бедра, показался край розовых штанов. Маньке было стыдно, но она уже не могла выбрать минуту оправить платье. А Перфилий и не смотрел на нее; кольца были вбиты крепко, он раскачивал их, карбас бросало, волны становились выше, надо было спешить.

Минут через пятнадцать ловушка была снята, пошли к берегу. Карбас осел. Перфилий бешено греб, глядя на что-то, что приближалось с моря. Манька сидела лицом

к берегу, подгребала, вычерпывала воду и боялась оглянуться.

— Стой! — дико заорал Перфилий. — На берег не выедем, кидай в воду, отсюда не унесет!

Выбросив ловушку, которую тотчас с ревом потащило на берег, они повернули опять в море. Теперь лицом к морю сидела Манька, полуживая от ужаса. Ни неба, ни облаков, ни моря вдали не было. Было что-то черное, туманное, бесстыдно, нагло возбужденное, взлохмаченное, и в черноте этой одни гребни волн холодно и жестоко белели. До второй ловушки еле добрались сквозь ветер. Перфилий выгибался, закидывался при каждом гребке, у Маньки подламывались руки...

И опять цеплялся Перфилий за колья, раскачивал их, опять ходуном ходил карбас, и когда поднимался, задирал нос, заваливаясь набок, голова и руки Перфилия скрывались за бортом. Округлив от ужаса глаза, Манька видела тогда только его напряженный зад и раскоряченные ноги в мокрых блестящих сапогах. Выдранный из грунта кол прыгал вверх, Перфилий отваливался назад, втаскивал сеть в карбас. В этой ловушке было несколько семг, метались брусковатые сиги, но на них не обращали внимания.

Наконец подошел настоящий шторм, волны сразу покрылись пеной, полетела водяная пыль, от берега стал доноситься сплошной рев: там по песку шел чудовищный накат, доставая почти до тони. Море начало приобретать шоколадный цвет. Вторая ловушка была почти вся в карбасе, оставалось втащить только полотно правой стенки, когда карбас полез на волну, встал почти вертикально, падая в то же время набок, перевернулся, и оглушенная, задохнувшаяся Манька оказалась под ним.

Она уже ничего не понимала в темноте, ей хотелось света, воздуха, хотелось увидеть Перфилия, а она стукалась головой о скамейки, тонущая сеть запуталась у нее в ногах, тащила за собой. «Господи! — гудело у нее в голове. — Мамочка, ой, пропала я совсем, ой, пропала!..»

Что-то шаркнуло ее по ноге, она брыкнулась, вцепилась в скамейку, прислонила лицо ко дну — тут еще оставалось немного пахнущего рыбой воздуха — и забыла. И опять, скользнув по ногам, схватили за бедра, за платье резкие злые руки, жестоко дернули вниз. Манька за-

хлебнулась, даваясь, уже по-звериному вырываясь, изгибаясь, — а ее все так же больно, грубо рвануло кверху, прижало к пузатому рубчатому боку карбаса: Перфилий, отплевываясь, заголая напряженную, с выступившими позвонками спину, карабкался на киль, тащил за собой Маньку.

— Чего под карбасом болтаешься, дура! — счастливо заорал он ей в самое ухо, крепко прижимая ее к себе, держась за осклизлый киль. — Держись! К берегу несет, выплывем!..

Манька, мотаясь, кашляя, ничего не видя сквозь слезы, задыхаясь от влажного соленого ветра, от водяной пыли, одной рукой вцепилась в киль, другой обняла Перфилия за шею и замерла, заоченела.

— Ничего! — весело, надсадно орал Перфилий, ерзая сапогами по днищу карбаса. — Живем! Кто у моря не жывал, тот и горя не видал!..

А море ревело, будто громадный буйный зверь, и, будто зверь, поднимало, опускало на своей спине опрокинутый карбас, все ближе поднося его к берегу. Уже через полчаса, поблескивая круглыми боками, карбас плясал в ревущем прибое. Волной подхватывало его, выносило на берег, потом волна разбивалась внизу, а карбас, окруженный шипящей пеной, сначала медленно, затем все быстрее мчался назад, чтобы снова, поднявшись на волне, броситься на берег.

Внезапно все стихло, слышно стало шипенье скатывающейся назад воды, а сзади послышался нарастающий, как от поезда, гул. Перфилий оглянулся и чуть не выпустил киль: неслась на них зловеющая, закрученная, плескивающая сверху волна. Она ударила в карбас, который не успел взобраться на нее, перевернула его, понесла на берег, гулко хряпнула о песок, и последнее, что помнила Манька, — это как несло ее куда-то, ударяя лицом, спиной, локтями о песок, ломая, вывертывая руки и ноги.

Очнулась Манька на берегу. Перфилий стоял возле нее на коленях, приподнимал ей голову. Маньке стало стыдно, она оттолкнула его и села, оправляя платье, прикрывая заголившиеся ноги. Ее тошнило, голова кружилась, плавали в глазах мушки.

— Никак, жива! — обрадовался Перфилий. — Погоди тут, я сейчас...

Он тяжело побежал по песку туда, где, как живой, ерзал в пене лоснящийся карбас, забрел по пояс в воду, поймал конец, поволок карбас на берег. Потом, снова забредя в мутно-белый шипящий раскат, ухватил ловушку и, наклоняясь почти до песка, дрожа ногами, вытащил на берег и ее. Запыхавшись, хлопая голенищами сапог, мокрыми полами куртки, он вернулся к Маньке. Она еще сидела, не в силах подняться.

— Ну что ты! — притворно укоризненно и бодро сказал Перфилий. — Ничего, ничего... А ну берись за шею — понесу! — крикнул он, нагибаясь, тревожно заглядывая ей в лицо.

Но Манька отвернулась и встала, качаясь как пьяная, со слабой виноватой улыбкой на белом лице. Они пошли рядом. Перфилий обнимал, поддерживал ее за спину, чувствовал ее худые лопатки, ширкал голенищами сапог; все больше оживляясь, посматривая на море, загораясь, говорил, смеялся над собой, над Манькой, над штормом, будто не он минуту назад держался за киль, хрипло, насадно орал, напрягался и с ужасом глядел на волны.

4

В избе Перфилий растопил печку, стащил с себя все мокрое, переоделся, вынес штаны, свитер и куртку Маньке, ушел в сени и жадно закурил там, рассматривая дрожащие, в ссадинах руки.

— Скоро ль, что ль? — закричал он через минуту.

— Ой! Сейчас! — испуганно отозвалась Манька и затопилась, с усилием стаскивая прилипшее к телу платье и рубашку. Одеваясь в сухое, путаясь с непривычки в длинных штанах, она покосилась, потрогала свою еще чуть припухшую грудь, тяжело вздохнула.

— Ну? — опять крикнул Перфилий из сеней.

— Иди! — смущенно разрешила Манька; торопясь, опуская глаза, стесняясь мужской одежды, быстро вынесла вон все свое мокрое, выжала и развесила на ветру.

— Ну-ка! — встретил ее Перфилий. — Поди сюда! Сейчас лечиться будем по последнему слову науки и техники...

Он посадил Маньку за стол, на лавку, достал из-под

койки начатую вчера бутылку водки, налил в стаканы ей и себе.

— Выпьем! — сказал он жарко, глядя ей в лицо. — Пей, пей! Подыдем стаканы, содвинем их сразу... Это от простуды. С благополучным приземлением вас...

Он выпил первый, подышал открытым ртом и тотчас налил в кружки чаю. Манька тоже выпила, задыхнулась, затрясла головой. Она быстро опьянела, зарозовела, зеленые глаза ее замерцали. Вся обмирая, ужасаясь, все больше, острее хотела она только одного: чтобы обнял, поцеловал ее Перфилий.

И Перфилий, взглянув на нее, вдруг замолчал и побледнел. Отодвинув кружку с чаем, он встал, легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел в обе стороны: берег был пустынен. Он вернулся, напряженно сел, стал жадно, открыто разглядывать Манькино лицо с пылающими щеками, влажные еще, курчавившиеся волосы, опущенные золотистые ресницы, уже понимая причину ее молчания, ее странности, опущенных глаз, сиплого голоса. Грозно, гулко шумело за стеной море, а в избе было тепло, сухо, трещала печка, пахло рыбой.

— Тебе лет-то сколько? — быстро спросил он изменившимся голосом.

— Идти мне надо... — слабо сказала Манька, приподнимаясь, и тут же села.

— Лет-то сколько тебе? — опять спросил Перфилий, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Девятнадцать... — соврала, прошептала Манька, отвернулась и почувствовала, как холодеют у нее руки и кружится голова. И вспомнила вдруг, будто облитая холодом, свою летнюю тоску, свои слезы, весь стыд первой тайной любви, все отчаяние призрачных белых ночей — сладкий ужас охватил ее: сидел рядом Перфилий, смотрел на нее страшными глазами, сбывались ее сны! «Чего же это! — подумалось ей. — Ай он кинется на меня сейчас! Мамочка, чего же это!» — И дико взглянула в лицо Перфилию.

— Эх! — вскрикнул он в нарочитом отчаянии и, легко притворившись тоже диким, придвинулся по лавке к ней, схватил, запрокинул ей лицо и, перекосив глаза, жадно и долго поцеловал ее, бесстыдно шаря свободной рукой по ее щуплому телу. Манька обомлела, помертвела...

— Чегой-то ты! — вырвалась она. — Проклятый! Да ты чегой-то!

— Сердце у меня слабое... — смущенно забормотал Перфилий, поднимаясь и двигаясь к ней.

— Дурак! — чуть не плача, хрипло закричала Манька. — Своих лахудров целуй... А меня не трожь! Я... я тебе не кто-нибудь!

— Маня! Манюша... — уже растеряннo, покаянно просил Перфилий. — Погоди ты, я ж к тебе по-хорошему!..

— Я тебе не какая-нибудь! Ленку свою целуй, ступай к ней. А я еще нецелованная! — с усилием выговаривала Манька, вся трясясь, и вдруг отвернулась, прерывисто дыша, растянула куртку, бросила на пол. — Уйди, проклятый! — сказала она низко. — Мне почту... Почту надо...

Она переделалась, уже не боясь, что войдет Перфилий, дрожа от ярости и какого-то сладкого, мстительного чувства, взяла сумку и, низко наклонив голову, не протаясь с топтавшимся в сених и курившим Перфилием, пошла.

Она отошла уже порядочно, когда, простоволосый, в опорках на босу ногу, догнал ее Перфилий.

— Вот тут у меня было... — забормотал он, суя в сумку ей шоколадные конфеты. — Это тебе на дорогу. Не обижайся, Маня... Простишь, а? А с Ленкой у меня все! — отчаянно и грустно сказал он. — Стерва она, гуляет...

— Уйди! — сказала Манька, глядя в сторону. — Отстань!

— В субботу в клуб придешь? — спросил Перфилий, быстро шагая рядом.

— Почта у меня, — по-прежнему глядя в сторону, сказала Манька.

— Ну в воскресенье! — не сдавался Перфилий. — Мне тебе что-то сказать надо... Приходи, Маня, а?

— Не знаю, — помолчав, невнятно сказала Манька и ускорила шаг; Перфилий отстал.

«Как же! Так и приду, жди! — думала Манька, низко наклонив голову, слушая приглушенный расстоянием шум моря. — Дуру какую нашел... Чего я пойду! С конфетами... подлизывается!» Она запустила руку в сумку, нащупала конфеты, сжала, но не бросила почему-то, как сперва хотела; так и шла, сжимая конфеты в руке.

На повороте она оглянулась, будто кто-то толкнул ее в спину: Перфилий стоял на дорожке, на том месте, где отстал, и смотрел ей вслед. Увидев, что Манька обернулась, он поднял руку, и Манька сейчас же заторопилась, заспешила, еле удерживаясь, чтобы не побежать. А пройдя с полверсты, она присела, настороженно осмотрелась, свернула в кусты, в золотисто-желтые березки, в мох и легла там, лицом на сумку. «Ах, да что ж это приключилось?... Как же я теперь им письма буду носить!» — думалось ей.

Лицо ее горело, голова кружилась от свежего, чистого рыбацкого запаха Перфилия. Видела она близко его темные, шальные, перекошенные глаза, замирала, вновь переживая весь ужас, всю радость, весь стыд сегодняшнего дня. И уже весело, мстительно, томительно-уверенно звучали в ней все те же дикие и вепчие слова: «Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни исъ!»

1958



ТРАЛИ-ВАЛИ

1

Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке.

Сторожка его нова и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сених кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам, и ползают по подоконникам муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зеваает, зеваает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий

звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно-оскоминный вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега.

Плес у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах, два из которых стоят наверху, два — внизу. Каждый раз он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз. Он и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. «Все это трали-вали...» — думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розовеющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и акkuratные завитки по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки — рыбой, керосином и осокой, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристает возле сторожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед, на закат.

На лугу уже туман, и пахнет сыростью.

Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.

— Э-ей! — звучным тенором окликает он.

— А-а... — слабо доносится издали.

Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Свернув с тропы, он ложится, облезлая колени и локти о траву, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка.

Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он только закат, полосу леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съезжившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

— Стой! — дико вопит он. — Стой, убью!

И, топоча сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет ее, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке.

2

Егор очень молод, но уже пьяница.

Пьяницей была и его жена, распущенная, потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке против сторожки, закричала:

— Егор, зараза, выходи, глянь на меня!

Егор вышел, радостный, в накинутах полушубке, в опорках на босу ногу, и видел, как она шла, помахиная сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел: на его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена.

В одной рубахе, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и когда бежал, все потрескивало, мягко колыхался, подавался под ним лед, — упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню, за три километра, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого, и когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал:

— Ну ладно, ладно... Это все трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу, скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забилося сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор небрежен и насмешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем солнце, на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. «Недоделанный я какой-то! — жалуется он, выпив. — Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у себя в сторожке на Первое мая. Почему не пошел он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, непри-

бранной постели, мрачно посвистывает. В полдень прибегает из деревни сестренка и тоненько вопит с того берега:

— Ero-o-op!..

Егор сумрачно выходит к воде.

— Его-орка, тебе велели иди-ить...

— Кто велел-то? — помолчав, кричит Егор.

— Дядя ...а-ася и дядя ...е-едя...

— А для чего они сами не пришли-и?

— Они не ...о-гут иди-ить, они пья-аныи-и...

Лицо Егора изображает тоску.

— Работа у меня, скажи, рабо-ота! — кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх и гуляют сейчас в деревне!» — горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, непрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, в сторожку.

— О-о-ор... иди-и... — звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении — и по два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоминает Егор, как служил во флоте на Севере. Вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво...

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные елки, мох, песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет, лучами скользя по мертвому лесу. Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно.

Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь и странные, дикие мысли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем барак с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры,

писание писем, курило... Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так... наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие яркие огоньки бакенов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится грустным, задумчивым. Томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубечком плесе медленно возникает и так же медленно пропадает густой, бархатистый, трехтоновый гудок. Немного погодя показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает плечами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гудение гулко, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнущие духами и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перекатывают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки бакенов, на редкие красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции — и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань...

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немилы ему росистые луга и тихий плес, немилая легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина — эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая наособицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он ве-

черами, где он целовался, прячась во ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна и осень с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютном сторожки!

Так почему же просыпается он, кто зовет по ночам его, будто звездный крик гудит по реке: «Его-о-ор!»? И смутно и знобко ему, какие-то дали зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду — до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в сторожку, ложится к Аленке, будит ее и жалко и жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабая от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса — успокоенный, ленивый и насмешливый — через полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.

3

Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

— Здорово, хозяин! — наигранно бодро говорит проезжий.

Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.

— Здравствуйте! — уже слабее повторяет проезжий. — Переночевать нельзя ли у вас?

И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестает, так занят вершей.

— А сколько вас? — спустя долгое время спрашивает он.

— Да трое только... Мы как-нибудь... — с робкой надеждой говорит проезжий. — Мы заплатим, не беспокойтесь...

Егор равнодушно, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда... И когда спрашивать уже нечего, с видимой неохотой разрешает:

— Ну что ж, переночевать можно.

Тогда все вылезает из лодки, подыскивает место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер.

А когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему недолго. Потом берет своей крепкой, темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит: «Со знакомством!» — и выпивает, каменея лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет — и начинает врать складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой.

— Рыба, — говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая, — у нас всякая... Правда, мало ее стало, н-но... — он хакает, делает паузу и понижает голос, — но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правду сказать, небольшая — полтора пуда всего... Утром поехал по бакенам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидую в воду, пока с бакенами во-зился, она и села: крючок аж в пузо зашел!

— Где же щука-то? — спрашивают его.

— А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, — не моргнув глазом отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука.

И если кто-нибудь усомнится — а сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением, — он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе — ровно сто пятьдесят граммов, — быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно-отчаянные глаза и говорит:

— А хочешь, завтра поедем? На чего спорим? У вас какой мотор-то?

— «ЛМ-1», — отвечают ему.

Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, приклоненный к углу.

— Этот? Ну, это трали-вали! — пренебрежительно говорит он. — У Славки — «болиндер», это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь, а не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды... Ну? Давай на мотор! Ставлю «болиндер» против твоей трали-вали! Ну? Один такой поспорил — ружье проспорил. Показать ружье? Заказная «тулка», бьет как зверь, я на нее зимой, — он секунду думает, стекленея глазами, — триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спросят о печке:

— Что ж, парень, без печки живешь?

— Печка? — уже кричит Егор. — А кто может скласть? Ты можешь? Склади! Глина, кирпич есть, матерьял, словом. Склади, полтора сразу даю, как пить дать! Ну? Склади! — настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его. — Ну? Склади!

И в ту же минуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», распакивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова.

— Разрешите? — спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью и тут же докладывает: — Боцманмат Северного флота прибыл в ваше распоряжение! Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, на-

чинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает.

Совсем ослотившийся, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запекает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры — непонятно, с испугом все смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хоть все их знает и постоянно мурлычет, — поет он на старинный русский манер, враспев, как бы неохотно, как бы хрипловато, как, слышал он в детстве, певали старики. Поет песню старую, долгую, с бесконечными, за душу хватающими «о-о-о...» и «а-а...». Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древнебылинного, что через минуту забыто все — грубость и глупость Егора, его пьянство и хвастовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое и будущее, и только необычайный голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза, и не дышать, и не сдерживать сладких слез.

— В Большой театр тебе надо! В Большой театр! — кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами, предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, позвонить кому-то... Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает.

Смутно представляет он себе Большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра — как все видел он это в кино, — лениво потягивается и бормочет:

— Все это трали-вали... театры там всякие...

И на него даже не обижаются: так велика теперь его слава, таким непонятным и сильным кажется он теперь гостям.

Но это еще не вся слава его.

Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затянет. Затягивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.

Тогда хандрит он с самого утра, с самого же утра и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

— Ну чего... Давай, что ли, это... А?

— Чего? — притворяется непонимающей Аленка.

— Споем, что ли... дуется, а? — вяло говорит Егор и вздыхает.

Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянуло. И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается...

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор уже не просит «дуета», он встает, нечесанный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок.

— Далеко ль собрался? — невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать.

— Пошли! — грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.

Лицо его бледнеет, ноздри размыкаются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и пойдет потом к любимому своему месту — к перевернутой дырявой плоскодонке, у самой воды, в березках. И там он будет петь с ней, но совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос...

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит меж ног бутылку. А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны вер-

хушки стогов. А ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен и тепел, но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передергиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны.

— Ну... — говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреждает шепотом: — Только втору давай смотри мне!..

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю...

Мо-о-орю си-и-инему...

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушко...

Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.

Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петые:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,

Желтым мелким песком

Не взоро-о-охнется...

Ах, да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, давным-давно, и пела вот так же, и дивный голос Егора слушала!

Откуль взялся сизо-о-ой орел...

Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пе-

нию, приклонив ухо, приотвернувшись от Аленки. И дрожит его кадык, и скорбны губы.

Ах, этот сизой орел! Зачем, зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подернулось все тьмою, зачем попадали звезды! Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только — что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки.

А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

— Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

«А! Трали-вали...» — хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.

1959



ОСЕНЬ В ДУБОВЫХ ЛЕСАХ

Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось все у меня в ту осень.

Аспидно-черной была эта ночь поздней осени, и не хотелось выходить из дому, но я все-таки вышел. Долго я устанавливал свечку в фонаре, а когда установил и зажег, стекла на минуту затуманились и слабое пятнышко света мигало, мигало, пока наконец свеча на разгорелась, стекла обсохли и стали прозрачными.

Свет в доме я нарочно не погасил, и освещенное окно было хорошо видно, пока я спускался по лиственничной аллее к Оке. Фонарь мой бросал вздрагивающий свет вперед и по сторонам, и я, наверное, похож был на стрелочника, только под сапогами у меня глухо шумели отсыревшие к ночи вороха кленовых листьев и хвоя лист-

венниц, которая даже при смутном свете фонаря была золотистой, а на голых кустах рдели ягоды барбариса.

Жутко идти ночью одному с фонарем! Один ты шуршишь сапогами, один ты освещен и на виду, все остальное, притаившись, молча созерцает тебя.

Аллея круто уходила вниз по скату, свет в окне моего дома скоро пропал, потом и аллея кончилась, пошли беспорядочные кусты, дубняк и елки. По ведру щелкали последние высокие ромашки, кончики еловых лап, какие-то голые прутики, и то глухо, то звонко раздавалось: бум! бум! — и далеко было слышно в тишине.

Тропа становилась круче и извилистей, пошли частые березы, их белые стволы поминутно выступали из мрака. Потом кончились и березы, на тропе стали попадаться камни, дохнуло свежестью, и, хоть за пятном света от фонаря ничего не было видно, впереди почудилось мне широкое пространство — я вышел к реке.

Тут уж увидел я далекий бакен справа. Красный огонек его двоился, отражаясь в воде. Потом показался бакен на моей стороне, гораздо ближе, и слегка мигнуло тоже, и река обозначилась.

По мокрой траве между кустами ивняка пошел я вниз по реке к тому месту, где обычно приставал катер, если кто-нибудь сходил на нашей глухой стороне. В темноте однотонно лопотал и булькал родничок. Я поставил фонарь, пошел к родничку, зачерпнул воды, напился и утерся рукавом. Потом поставил мокрое ведро рядом с фонарем и стал смотреть в сторону далекой пристани.

Катер уже стоял возле пристани, слабо видны были его красный и зеленый огни по бортам. Я сел и закурил. Руки у меня дрожали и были холодны. Я вдруг подумал, что если ее нет на катере, а с катера заметят мой фонарь, подумают, что я хочу ехать, и пристанут к берегу. Тогда я погасил фонарь.

Сразу стало темно, только, будто проколотые иглой, горели бакены по всей реке. Тишина стояла звенящая; в этот поздний час, верно, один я был на многие километры на берегу. А наверху, за дубовым лесом, лежала темная деревенька, все давно спали, и только в моем доме на краю горел свет.

Я представил вдруг весь ее длинный путь ко мне, как она ехала из Архангельска, спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то говорила. Как она, так же как и я, все

эти дни думала о встрече со мной. И как она едет теперь по Оке и видит берега, о которых я ей писал, когда звал к себе. Как она выходит на палубу и в лицо ей дует ветер, несущий запах сырых дубовых лесов. И какие разговоры внизу всю дорогу, в тепле, за запотевшими стеклами, как ей объясняют, где сойти и где переночевать, если никто не встретит.

Потом я вспомнил Север, свои скитания по нему и то, как я жил на тоне и мы с ней били зубаток в белые ночи. Рыбаки тяжело спали, всхрапывая и постанывая, а мы дожидались отлива и выходили на карбасе в море. Она беззвучно гребла, а я вглядывался в глубину, в клубки водорослей, разыскивая между ними очертания рыб. Я тихо подводил острогу и вонзал белое острие зубатке в затылок, напрягаясь, вынимал ее из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась на остроге, разевала ужасную пасть, свертывалась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похожая на тритона. И потом, уже на дне карбаса, долго шуршала еще, вздрагивала и вцеплялась во что попало мертвой хваткой.

И я вспомнил весь этот год, какой он был для меня счастливый, как много успел я написать рассказов и еще, наверное, напишу за оставшиеся глухие, тихие дни на этой реке, среди этой природы, уже погасшей и предзимней...

Ночь была вокруг меня, и папироса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки, и лицо, и сапоги, но не мешала мне видеть звезды, — а их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река, и деревья, и белые камни на берегу, темные четырехугольники полей на холмах, и в оврагах было гораздо темнее и душнее, чем в полях.

И я подумал тут же, что главное в жизни — не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, — потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей.

Катер уже отошел от пристани. Он был так далек еще, что движения его нельзя было уловить. Казалось, он стоял на месте, но от пристани отделился, и это значило, что он шел теперь вверх, ко мне. Скоро послышался высокий звук дизеля, и мне вдруг стало страшно, что она

не придет, что ее нет на катере и я напрасно жду. Я увидел внезапно расстояние и дни, которые ей надо преодолеть, чтобы добраться до меня, и понял, как это непрочно все — какие-то мои планы счастливой жизни здесь вдвоем.

— Что же это! — сказал я вслух и поднялся. Я не мог уже сидеть и стал ходить по берегу. — Что же это! — время от времени беспомощно повторял я и все поглядывал на катер, а сам думал, как дико будет идти мне одному наверх со своей водой и как пусто станет в моем доме. И неужели нам не повезет наконец и после стольких дней и наших неудач мы не встретимся и так все пойдет прахом?

Я вспомнил, как уезжал три месяца назад с Севера домой, как она неожиданно приехала в деревню с тони проводить меня, как стояла на мостках, пока я садился в мотобот, чтобы плыть к пароходу на далеком рейде, и как говорила все одно и то же: «Куда же ты едешь? Ты ничего не понимаешь! Ты ничего не понимаешь! Куда ты едешь?» А я уже на мотоботе среди прощаний, слез женщин, криков парней и всякого шума понимал, что делаю что-то ребяческое, уезжая и слабо надеясь как-то все поправить в будущем.

Катер был теперь близко, а я уже не ходил, а стоял на самом краю, на самом обрыве над черной водой и смотрел на него не отрываясь, щурясь и громко дыша от возбуждения и надежды.

Звук мотора внезапно стал ниже по тону, на рубке сверкнул прожектор, и дымный косой луч секанул по берегу, перескакивая с дерева на дерево. Катер искал место, где пристать. Он забирал все вправо, напряженный луч прожектора ударил мне в лицо, я отвернулся, потом опять поглядел. На верхней палубе стоял матрос и уже открывал борт, чтобы сойти вниз и перекинуть на берег трап. А рядом с ним в чем-то светлом стояла она.

Нос катера мягко и глубоко вонзился в берег, матрос сдвинул трап, помог ей сойти, а я перехватил чемодан, отнес его подальше, поставил рядом с ведром и тогда только медленно обернулся. Свет прожектора слепил меня, и я никак не мог ее рассмотреть. Отбрасывая громадную зыбкую тень на лесистый откос наверху, она подходила ко мне. Я хотел ее поцеловать, но потом раз-

думал, мне не хотелось этого под светом прожектора. И мы просто встали рядом, прикрываясь руками от света, и, напряженно улыбаясь, стали смотреть на катер. Катер дал задний ход, луч прожектора пополз в сторону, потом и вовсе погас, дизель внизу опять запел, и катер — с длинным рядом освещенных окон в нижних салонах — быстро стал удаляться вверх по реке. Мы остались одни.

— Ну, здравствуй, — сказал я смущенно.

Она поднялась на цыпочки, больно взяла меня за плечи и поцеловала в глаза.

— Пойдем! — сказал я и покашлял. — Черт, как темно, погоди, я фонарь зажгу...

Я зажег фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча и обсохнут, станут прозрачными стекла. Потом мы пошли: я — впереди с чемоданом и фонарем, она — сзади с ведром воды.

— Тебе не тяжело? — спросил я через минуту.

— Иди, иди! — сипло сказала она.

У нее всегда был сильный, низкий голос, и вообще она была жесткая и сильная, и я долго не любил в ней этого. Потому что я любил в женщинах нежность. Но сейчас, здесь, на берегу реки, ночью, когда мы шли друг за другом к дому, после стольких дней злости, разлуки, писем и странных угрожающих снов, ее голос, и крепкое тело, и шершавые руки, ее северный выговор были как дыхание нездешней птицы — дикой, сероперой, отставшей от осенней стаи.

Мы свернули направо, в овраг, по которому вверх шла неизвестно кем и когда мощенная короткая дорога — узкая, заросшая орешником, соснами и рябиной. Мы стали подниматься по ней во тьме, едва светя себе фонарем, а над нами текла узкая звездная река, по ней плыли сосновые черные ветви и по очереди закрывали и открывали звезды.

Еле переводя дух, мы вышли на лиственничную аллею и пошли рядом. Мне вдруг захотелось ей все показать и рассказать о здешнем, о народе, о разных маленьких происшествиях.

— Понюхай, — сказал я, — как пахнет!

— Вином, — ответила она, слегка задыхаясь от ходьбы. — Я давно почуяла, еще на пароходе...

— Это листья. А вот пойдись сюда!



Мы оставили на аллее вещи, перепрыгнули через канавку и полезли в кусты, светя себе фонарем.

— Это где-то должно быть тут... — бормотал я.

— Грибы, — изумленно сказала она сзади. — Сырожки.

Наконец я нашел то, что искал. Это были белые перья от цыпленка, рассеянные по траве, хвое и желтым листьям.

— Посмотри, — сказал я и стал светить. — У нас здесь птицеферма в деревушке. Цыплята подросли, их начали выпускать. И вот лиса приходит теперь каждый день и сидит в кустах. Когда цыплята разбредутся по лесу, она ловит какого-нибудь. И тут же жрет.

Я представил себе эту лису с сединой на темной морде, как она облизывается и фукает, чтобы сдуть с носа пух.

— Ее надо убить! — сказала она.

— У меня ружье, мы с тобой походим по лесам, и, может быть, нам повезет.

Мы выбрались опять на аллею и пошли дальше. Показались освещенное окно моего дома, и я стал думать о том, что сейчас будет, когда мы придем. Мне сразу захотелось выпить, а у меня была рябиновка. Я ее делал сам. Хорошо было рвать в лесу рябину, приносить домой, давить ее в соковыжималке, чтобы текла желтая пена, а потом цедить сок в бутылку с водкой.

— А у нас зима! — сказала она как будто удивленно. — Двина замерзла, только посерединке ледоколы проделали проход. Все белое, а проход черный... И пар идет. А когда корабль идет по черной воде, то по льду рядом собаки бегут. И почему-то бегут троим.

Она так и сказала по-северному: «троим», а я представил Двину, и пароходы, и Архангельск, и деревню на Белом море, откуда она приехала. Высокие двухэтажные пустые избы, черные стены, безмолвие и уединенность.

— Лед уже появился? — спросил я. — В море?

— Нагоняет, — сказала она и тоже о чем-то подумала, может быть, о том, что оставила там. — Обрато на оленях придется добираться, если...

Она замолчала, я подождал, прислушиваясь к ее дыханию и шагам, потом спросил:

— Что — если?

— Ничего, — особенно сипло и медленно сказала она. — Если еще льду нагонит, вот что!

Потопав по крыльцу, мы вошли в дом.

— У-у! — сказала она, оглядываясь и снимая платок. Она всегда, когда удивлялась или радовалась, говорила это свое низкое и медленное «у».

Дом был мал и стар, я снял его у москвича, который жил в нем только летом. Мебели почти не было, только старые кровати, стол да стулья... Стены точил жук, и все они были обсыпаны белой мукой. Зато в доме были приемник, электрический свет, печка и несколько толстых старых книг, которые я любил читать по вечерам.

— Раздевайся! — сказал я. — Сейчас печку растопим...

И пошел на двор рубить хворост для печки. Но мне было что-то не по себе от счастья, в голове звенело, руки тряслись, вообще весь я как-то ослаб и хотелось посидеть. Звезды сверкали мелко и остро. «Будет мороз, — подумал я. — И, значит, утром слетят все листья. Скоро зазимок!»

На Оке медленно возник певучий трехтоновый гудок и долго отдавался, перекатываясь по холмам. Где-то внизу шел буксир, один из тех старых паровых буксиров, которых мало уж теперь. Новые катера и водометы толкачи гудят коротко, высоко и гнусаво. Разбуженные гудком, на птичнике прокричали фальцетом несколько петушков...

Я нарубил сучьев, набрал дров и пошел в дом. Она сняла пальто, стояла спиной ко мне и шелестела газетами, доставала что-то из чемодана. Была она в цветистом платице, оно было тесно ей, и, приведи я ее в Москве куда-нибудь в гости, в клуб, все бы незаметно улыбались, а это, наверное, было ее лучшее платье. И я вспомнил, что обычно она ходит в спортивных брюках, заправленных в сапоги, а поверх какая-нибудь старая, выгоревшая юбка, и это очень там было здорово.

Я поставил чайник и стал растапливать печь. В печи скоро загудело, хворост затрещал, запахло дымом и дровами.

— Это тебе! — сказала она сзади.

Я обернулся и увидел на столе семгу — великолепную, тускло-серебряную, с широкой темной спиной, с загнутойверху нижней челюстью. В доме запахло рыбой, и тоска по странствиям опять охватила меня.

Она была поморкой, она даже родилась в море на мотоботе летом в золотую ночь. Но к ночам она была равнодушна. Ведь только приезжий видит их и сходит с ума от тишины и одиночества. Только когда ты там гость, оторван ото всех и как бы всеми забыт, только тогда ты не спишь ночью и все думаешь, думаешь и говоришь себе: «Ну-ну! Это ничего, это просто ночь, а ты здесь не навсегда, и что тебе до ночи, пусть солнце крадется краем моря. Спи, спи...»

А она? Она крепко спала ночами на тонях за ситцевой занавеской, потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду... И это было всегда, каждое лето, пока не приехал я.

И вот теперь на Оке мы пьем рябиновку, едим семгу и говорим, вспоминаем разные разности. И то, как мы выезжали белыми ночами в море бить зубаток, и как тянули в шторм с рыбаками ловушки, и захлебывались горькой водой, и нас мучило, и как ходили на маяк за хлебом, и как сидели однажды ночью в деревенской библиотечке и, разувшись, скинув телогрейки, читали все газеты и журналы, вышедшие за те дни, когда мы были на тоне.

Я бросил на пол к печке шубу мехом вверх, мы поставили рядом чайник и конфеты, взяли чашки и легли на эту шубу, глядя попеременно то друг на друга, то в розовую топку, на угли, как по ним перебегали огоньки. И, чтобы так подольше лежать, я иногда вставал и подбрасывал в печь хворосту, и он начинал трещать, а мы отодвигались от жара. Часа в два ночи я встал в темноте, потому что не мог спать. Мне казалось: если я усну, она куда-то уйдет от меня, я не буду ее ощущать, а мне хотелось, чтобы она была все время со мной и я бы это знал. «Возьми меня в свои сны, чтобы я был всегда с тобой! — хотелось мне сказать. — Потому что нельзя расставаться надолго». Потом я подумал, что люди, которые уходят от нас и мы их не встречаем больше, эти люди для нас умирают. А мы для них. Станные мысли приходят в голову ночью, когда не можешь спать от радости или от тоски.

— Ты спишь? — спросил я тихо.

— Нет, — отозвалась она с постели. — Мне хорошо. Не гляди, я оденусь...

Тогда я пошел в угол, где на ремнях на стене висел приемник, и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашел ее. Низкий мужской голос что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть.

Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или, наоборот, больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию. Она чужда мне, но в ней звучит какая-то тайная мысль, и не понять, печальна она или радостна. Я часто вспоминал ее, когда ехал куда-нибудь, когда что-нибудь меня радовало или, наоборот, угнетало. Напомнила она мне и ту московскую ночь, когда мы всё ездили, ездили и ходили, одинокие и несчастные, и во всю ночь ни слова упрека не услышал я от нее, и мне было стыдно.

Она уезжала в Архангельск после пяти каких-то пустых дней, проведенных в Москве. Все было точно так же, как всегда бывает на московских вокзалах: катили свои тележки носильщики, зудели автокары, кругом топились, прощались, оставались считанные минуты... Она уезжала, хотя могла бы и не ехать еще, у нее было время — несколько свободных дней. А мне было досадно, горько, я злился и на себя и на нее. Я думал, как пусто мне станет без нее и опять придется пить, чтобы как-то справиться с тоской.

— Не уезжай! — сказал я.

Она только усмехнулась и дрожащими глазами снизу посмотрела на меня. Глаза у нее были темные, с зелеными искорками, нельзя было понять — зеленые они у нее или черные. Но когда она на меня там смотрела, они были черные, это я хорошо помню.

— Как глупо! — говорил я. — То я уехал с Севера, ничего не поняв, а теперь ты, и опять ничего... Как глупо! Не уезжай!

— Чего теперь говорить, — пробормотала она со злостью.

— Не нужно было останавливаться у каких-то родных, которые всегда дома!

— А у кого? У тебя, что ли? Все равно, — сказала она упрямо. — Чего теперь говорить...

— Поедем сейчас в гостиницу, ты поживешь там эти дни.

— Поезд сейчас пойдет, — сказала она, отворачиваясь.

— Да нет, погоди, подумай! После стольких писем мы будем вместе, одни, подумай!

Она долго молчала, поводя глазами по моему лицу, прикусив губу, наконец спросила жалко, подстреленно: — А ты будешь рад, если я останусь?

Мне стало трудно дышать, комок подступил к горлу, я повернулся, быстро вошел в вагон, наталкиваясь на кого-то, протискиваясь, отыскал ее купе, взял чемодан и вышел. До сих пор помню, как смотрели на нас проводники и все, кто был около вагона в ту минуту.

— Поедем, — сказал я.

— А билет? — сияя глазами, спросила она.

— Плевать на билет! — сказал я и взял ее за руку.

Мы вышли на площадь и сели в такси.

— В гостиницу, — сказал я.

— В какую? — спросил шофер.

— Все равно в какую!

Машина тронулась, понеслась навстречу светофорам, уже горящим неоновым вывескам, мимо вокзалов, людей и домов.

— Постой, старик, — сказал я шоферу возле какого-то магазина, вышел и купил бутылку вина. Я вернулся, засунув ее в боковой карман. Я воображал, как мы пьем это вино одни, поднимая бокалы и глядя друг другу в глаза. Я ощущал уже его вкус во рту, когда мы подъехали к гостинице и я пошел к администратору.

— Мест нет, — сообщил он мне спокойно.

— Любой номер. Понимаете — любой номер, самый плохой или самый лучший!

— Мест нет, — кисло повторил он и с досадой взял трубку беспрерывно звонившего телефона.

Она дожидалась меня в вестибюле, робко глядя на величание колонн и зеркал. Она и на меня взглянула робко, будто я был владыкой всего этого! Мы вышли к стоянке такси.

— Поедем в другую, — сказал я огорченно.

Она безропотно села в машину, и мы понеслись по Москве. Я заехал к другу занять денег и чуть было не попросил приютить нас, но у сестры его были гости, я посмотрел на них, на стол с вином, на тахту, на задранные ноги в узких мокасинах и ничего не попросил. Зато денег взял побольше.

— Выпей! — сказал мне друг, перехватив мой взгляд.

— Нет, меня ждут, спасибо!

Прошел час и два, а мы всё ездили, и везде нам говорили одно и то же: «Мест нет!» Выходя на улицу, я оглядывал огромные здания гостиниц и домов, все эти многоэтажные ряды окон, многие из которых были уже погашены, и думал обо всех, кто в этот час может спокойно сидеть и лежать у себя в комнате, и слушать радио, и читать что-нибудь на сон или обнимать женщину, и у меня начинало болеть сердце.

Наконец, измученные, мы отвезли ее чемодан на вокзал, сдали его в камеру хранения и медленно пошли к Сокольникам. Был двенадцатый час ночи.

— Что ж будем делать? — со смехом спросил я.

— Не знаю, — сказала она устало. — Может, в ресторан зайдём? Я есть хочу...

— Рестораны закрыты, — сказал я, посмотрев на часы, и опять глупо засмеялся. — Пошли в центр на бульвары.

Мы шли быстрым шагом, как ходили на Севере по берегу моря, когда нам нужно было не опоздать в кино в клубе за двадцать километров. Фонари погасли, горели только через один и на одной стороне. Людей почти не стало на улицах. Наконец мы пришли на Тверской бульвар и сели на скамейку.

— А к тебе никак нельзя? — спросила она с надеждой.

— А то бы я ходил с тобой! Отец, мать — куда!

— Ну ладно, — сказала она. — Не горюй, завтра я уеду, есть еще утренний поезд. А потом... — она вздохнула, — потом ты опять когда-нибудь приедешь к нам.

Я обнял ее, она прижалась ко мне, закрыла глаза.

— Мы и так посидим, правда? — бормотала она, шевелясь на скамейке и устраиваясь поудобней. — Ты хороший, я тебя люблю, дурачок, я тебя там еще полюбила, а ты не знал... Бедный ты, бедный!

Посидев минуту неподвижно, она скинула туфли и подобрала ноги, укрыв их юбкой.

— Ноги болят, — сонно бормотала она. — Туфли эти... Без привычки...

По боковой аллее шли два милиционера. Увидев нас, один из них вышел на свет и пошел к нам.

— Пройдите, гражданин! — сказал он почему-то только мне. — Это не разрешается.

— Что не разрешается? — спросил я в то время, пока она смущенно надевала туфли на опухшие ноги.

— Нечего разговаривать! Сказано — пройдите!

Мы встали и пошли. Я снова стал разглядывать дома и окна, и мне все время представлялась комната с тахтой. Больше в этой комнате ничего не было, только слабый розовый свет и тахта.

— Слушай, зайдём в подъезд, — сказал я неуверенно.

— Пойдем, — согласилась она и слабо улыбнулась. — Я там туфли сниму, на ступеньке посидим.

Мы вошли в какой-то темный двор, пошли в угол к самому дальнему подъезду, закрыли за собой дверь и сели на ступеньку. Она тотчас сняла туфли и стала растирать ступни.

— Устала? — спросил я и закурил. — Бедная, не повезло нам в Москве.

— Да. — Она потерлась щекой о мое плечо. — Очень большой город.

Послышались шаги, дверь отворилась, в подъезд заглянула дворничиха и увидела нас.

— А ну, пошли отсюда! — закричала она. — Напасти на вас, чертей, нету, как кошки подворотные, шлятся! Пошли, а то засвищу сейчас!

И она вытащила из кармана фартука блестящий свисток. Лицо у нее было злое, скуластое. Мы опять пошли двором, сзади шла дворничиха и ругалась. На улице мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Это тебе не Белое море, — сказал я.

— Ничего, — опять успокоила она меня, — давай просто так ходить. Или поедем на вокзал, на лавках хоть поспим, а?

— Ладно, — согласился я и вдруг оживился: — Слушай, я дурак, давай поедем за город! Возьмем такси, деньги у меня есть, и поедем километров за тридцать — у нас так делают!

По улице медленно проезжало такси. Я любил раньше, возвращаясь поздно, смотреть на эти ночные такси. Как заколдованные, медленно блуждают они по спящему городу, мерцая зелеными огоньками, и, глядя на эти огоньки, всегда хочется уехать куда-нибудь далеко.

Мы остановили такси.

— За город? — переспросил таксист и сразу заметно понаглел. — Семь с полтиной — повезу.

— Ладно, — сказал я. Мне было уже все равно.

Пока ехали, мне захотелось спать. Дорога была пустынная, на западе держался еще сумрак, но восток побелел, начинался рассвет. Ветер ровно гудел снаружи, а в такси сильно пахло бензином.

— Тут, что ли? — спросил шофер, замедляя ход возле какой-то рощицы. — Дальше у нас не ездят. Периферийная, что ли? — спросил он, глядя на нее.

Мы вышли, и нас тут же стало знобить от предрасветного холода.

— Полчаса хватит? — спросил шофер, оценивающе разглядывая меня. — Я вздремну, придете — разбудите. Сигаретка есть? Дай-ка закурю...

И стал разворачиваться на обочине, а мы пошли жесткой травой к лесу, и единственным моим ощущением тогда было ощущение сырости и озноба. Костюм мой задуibel, отяжелел, ботинки стали мокры, а складка на брюках разгладилась. В лесу стоял сумеречный свет; я взглянул на нее, думая, что же я буду теперь делать. У нее был усталый вид, лицо осунулось и под глазами лежали круги. Она вдруг откровенно зевнула и скучно посмотрела вокруг, как бы недоумевая, зачем мы сюда заехали.

— Тоже мне лес... — пробормотала она и вдруг враждебно поглядела на меня.

Я тоже зевнул, почувствовал скуку и злость, что я не дома в постели, а здесь, в сырости и холоде.

— Надоело, — сказала она, судорожно зевая, низко и сипло выговаривая «надоево» вместо «надоело». — О Господи! Не надо ничего, я не хочу, поехали обратно...

— Назад так назад, — сказал я вяло и тоже зевнул. — Только давай выпьем, а то карман оттягивает.

Я вытащил бутылку, попробовал вышибить пробку, но пробка втиснута была очень плотно. Тогда я проткнул ее внутри сургучом.

— Пей, — сказал я, подавая ей теплую бутылку.

— Не хочу, — пробормотала она, но бутылку взяла и, вздохнув, стала пить. Две струйки, как кровь, пролились по ее подбородку, она закашлялась и отдала мне бутылку. Я допил ее и бросил.

— Пошли, — сказал я с облегчением.

Мы опять брели по сырому лесу, по папоротникам, потом по кочкам луговины, и она все приподнимала платье, чтобы не забрызгать росой подол.

— Чего так рано? — спросил шофер и насмешливо посмотрел на меня. — Характером не сошлись?

— Давай крути! — злобно сказал я, еле удерживаясь, чтобы не ударить его.

Мы ехали назад и дремали, приваливаясь друг к другу при крутых поворотах, и, помню, прикосновения к ней были неприятны мне, да и ей тоже, наверное... Было часов пять утра, а до поезда надо было болтаться где-то еще часа три. Мне было плохо, вино ударило в голову, но как-то тяжело, душно.

Три часа эти были мучением, а главное, что я не мог уйти, а должен был с ней быть до конца. Еле дождавшись поезда, я снова провожал ее и не знал, что сказать, голова у меня трещала.

— Ну ладно, пиши, — сказала она и взялась за поручень.

Я нашел в себе силы приостановить ее.

— Не сердись, — пробормотал я, поцеловал ее в лоб и пошел к выходу. Помню, мне стало так легко, когда я с ней расстался, что я даже удивился, но было и грустно; где-то глубоко какая-то ранка саднила в душе, и стыдно как-то было.

Я подтащил шубу к приемнику, и мы сели на нее рядом, обнявшись. Все эти месяцы в душе моей жило чувство потери, а теперь я все нашел, и найденное было даже лучше, чем я мог предполагать.

Элегически бормотал контрабас, отыскивая во тьме свои контрапунктические ходы, блуждая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и мне его медленный ход напоминал звездное небо. А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то саксофон, снова и снова забиралась в неистовые верха труба, и рояль время от времени входил между ними со своими квинтовыми апокалипсическими аккордами. И, как метроном, как время, раскладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми ударами подчинял себе все ударник.

— Не будем зажигать света, ладно? — сказала она, глядя с пола вверх, на зеленоватую шкалу приемника, на его волчий глаз.

— Ладно, — согласился я и подумал, что, может быть, такой ночи у меня никогда больше не будет. И мне стало грустно, что прошло уже три часа, мне захотелось,

чтобы все это началось сначала, чтобы я опять вышел с фонарем и ждал, чтобы мы снова вспоминали, а потом опять боялись бы расстаться друг с другом во тьме.

Она поднялась на минуту за чем-то, заглянула в окно и сипло сказала:

— Снег...

Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шел неслышимый снег. Первый настоящий снег этой осенью. Я представил, как завтра днем обнаружатся мышиные следы вокруг куч хвороста в лесу и заячьи следы возле акации, которую они так любят глотать по ночам, вспомнил о своем ружье, мне стало весело, и пробрала дрожь. Как славно, что снег, и что приехала она, и мы одни, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого, и что завтра я поведу ее на свои любимые места, покажу Оку, поля, холмы, лес и овраги... Ночь шла, а мы все не могли заснуть, говорили шепотом и обнимались, боясь потерять друг друга, и опять топили печку, смотрели в ее огненный зев, и красный свет пек наши лица. Заснули мы часов в семь утра, уж окна поглубели, и проспали долго, потому что нас никто не будил в нашем доме. Пока мы спали, взошло солнце и все подтаяло, но потом снова заморозило. Попив чаю, я взял ружье, и мы вышли из дому. Даже больно на секунду нам стало — такой белый зимний свет ударил нам в глаза и так чист и резок был воздух. Снег сошел, но всюду остались ледяные корки. Они были матовы, полупрозрачны. Из коровника шел душистый пар, телята толкались возле и громко топотали, как по деревянным мосткам. Это потому, что под верхними ледяными колчами еще не замерзла навозная жижа. А некоторые с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи.

Мы шли сперва по дороге. Колеи затянулись матовым, но подо льдом стояла глинистая вода, и, когда сапоги наши проламывали корку, на лед коричнево брызгало. А в лесу из-под льда торчали поздние, едва зажелтевшие одуванчики. Во льду видны были вмерзшие листья и хвоя, стояли заледеневшие последние грибы, и, когда мы ударяли по ним ногой, они сламывались и, гремя, подскакивая, долго катились по льду. Лед под нашими

ногами проседал, и далеко хрустело и гремело кругом: спереди, сзади и по бокам.

Поля на холмах были дымно-зелены издали и будто пересыпаны мукой, стога почернели, лес сквозил, был черен и гол, только резко проступал березовый белый чистокот, барахтались и лоснились зеленью стволы осин, да кое-где по лесистым холмам цвели, горели еще последние красные шапки неопавших деревьев. Река сквозь лес была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна на взгляд. Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы, и стали пить из родника возле срубленной осины. В неподвижном бочажке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной.

— Хорошо? — спросил я, посмотрев на нее, и изумился: глаза у нее были зеленые.

— Хорошо! — сказала она, жадно озираясь и облизывая губы.

— Лучше, чем на Белом море? — спросил я еще.

Она опять стала смотреть на реку и вверх по откосу, и глаза ее еще позеленели.

— Ну, Белое море... — сказала она неопределенно. — У нас... у нас... А тут дубы, — перебила она себя. — Как это ты нашел такое место?

Я был счастлив, но мне и странно как-то было и боязно: уж очень все хорошо выходило у меня в ту осень. Чтобы успокоиться, я закурил и стал весь куриться дымом и паром. На Оке со стороны Алексина показался буксирный катер, он шибко бежал вниз, гнал волну, и мы молча проводили его глазами. Из машины у него шел обильный пар и струей еще выскакивал на сторону из борта, из дырки над темной водой.

Когда катер скрылся за поворотом, мы, держась за руки, стали подниматься вверх среди редких деревьев в светлом лесу, чтобы посмотреть еще раз на Оку сверху. Мы шли тихо, молча, как в белом сне, в котором мы наконец были вместе.

1961



ДВОЕ В ДЕКАБРЕ

Он долго ждал ее на вокзале. Был морозный солнечный день, и ему все нравилось: обилие лыжников и скрип свежего снега, который еще не успели убрать в Москве. Нравился и он сам себе: крепкие лыжные ботинки, шерстяные носки почти до колен, толстый мохнатый свитер и австрийская шапочка с козырьком, но больше всего лыжи, прекрасные клееные лыжи, стянутые ремешками.

Она опаздывала, как всегда, и он когда-то сердился, но теперь привык, потому что, если припомнить, это, пожалуй, была единственная ее слабость. Теперь он, прислонив лыжи к стене, слегка потопывал, чтобы не замерзли ноги, смотрел в ту сторону, откуда она должна была появиться, и был покоен. Не радостен он был, нет, а просто покоен, и ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят, что дома тоже хорошо, и что зима хороша: декабрь, а по виду настоящий март с солнцем и блеском снега, — и что, главное, с ней

у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава Богу, это все прошло, и теперь другое — спокойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!

Когда она наконец пришла и он увидел близко ее лицо и фигуру, он просто сказал:

— Ну-ну! Вот и ты...

Он взял свои лыжи, и они медленно пошли, потому что ей надо было отдышаться: так она спешила и запыхалась. Она была в красной шапочке, волосы прядками выбивались ей на лоб, темные глаза все время косили и дрожали, когда она взглядывала на него, а на носу уже были первые крохотные веснушки.

Он отстал немного, доставая мелочь на поезд, глянул на нее сзади, на ее ноги и вдруг подумал, как она красива и как хорошо одета и что опаздывает она потому, наверное, что хочет быть всегда красивой, и эти ее прядки, будто случайные, может быть, вовсе не случайны, и какая она трогательная, озабоченная!

— Солнце! Какая зима, а? — сказала она, пока он брал билеты. — Ты ничего не забыл?

Он только качнул головой. Он даже слишком набрал всего, как ему теперь казалось, потому что рюкзак был тяжеловат.

В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно: все кричали, звали друг друга, с шумом занимали места, стучали лыжами. Окна были холодны и прозрачны, но лавки с печками источали сухое тепло, и хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся, и слушать быстрое мягкое постукивание колес вниз.

Минут через двадцать он вышел покурить на площадку. Стекла в одной половине наружных дверей не было, на площадке разгуливал холодный ветер, стены и потолок закуржавели, резко пахло морозом, железом, а колеса здесь уже не постукивали, а грохотали, и рельсы гудели.

Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамейки на другую, испытывая ко всем едущим чувство некоторого сожаления, потому что, как он думал, никому из них не будет

так хорошо в эти два дня, как ему. Он рассматривал также и девушек, их оживленные лица, думал о них и волновался слабо и горько, как всегда, когда видел юную прелесть, проходящую мимо с кем-то, а не с ним. Потом он посмотрел на нее и обрадовался. Он увидел, что и здесь — среди молодых и красивых — она была все-таки лучше всех. Она смотрела в окно, лицо ее было матово, а глаза темны и ресницы длинные.

Он тоже стал смотреть через дверь без стекла на мороз, на воздух, щурился от яркого света и от ветра. Мимо проносились скрипучие деревянные, засыпанные снегом платформы. На платформах иногда попадались фанерные буфеты, все выкрашенные в голубое, с железной трубой над крышей, с голубым же дымком из трубы. И он думал, как хорошо сидеть в таком буфете, слушать тонкие посвисты проносящихся мимо электричек, греться возле печки и пить пиво из кружки. И как вообще все прекрасно: какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить, что та, которую он любит, сидит в вагоне и на нее можно посмотреть и встретить ответный взгляд! О, как это здорово, уж он-то знает: сколько вечеров он провел дома один, когда у него не было ее, или бесцельно слонялся по улицам с приятелем, философствовал, рассуждал о теории относительности и о других приятно-умных вещах, а когда возвращался домой, было грустно. Он даже стихи сочинял, и они тогда нравились приятелю, потому что у него тоже никого не было. А теперь приятель женился...

Он думал, как странно устроен человек. Что вот он юрист и ему уже тридцать лет, а ничего особенного он не совершил, ничего не изобрел, не стал ни поэтом, ни чемпионом, как мечтал в юности. И как много причин у него теперь, чтобы грустить, потому что жизнь не получилась, а он не грустит, его обыкновенная работа и то, что у него нет никакой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен и живет нормально, как если бы добился всего, о чем ему мечталось.

У него одно было только всегдашнее беспокойство — мысли о лете. Еще с ноября начинал он думать и загадывать, как и куда поедет на время своего будущего летнего отпуска. Этот отпуск всегда ему казался таким нескончаемым, таким в то же время кратким, что нужно

было заранее все обдумать и выбрать место самое интересное, чтобы не ошибиться, не прогадать. Всю зиму и весну он волновался, узнавал, где хорошо, какая там природа, и какой народ, и как туда добраться, и эти распросы и планы были, может быть, приятнее даже самой поездки и отпуска.

Он и сейчас подумал о лете, о том, как поедет на какую-нибудь речушку. Они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, и она станет как индейская пирога... Прощай тогда Москва и асфальт, и всякие процедуры, и юридическая консультация!

И он тут же вспомнил, как они первый раз уехали из Москвы вместе. Они поехали тогда в Эстонию, в крохотный городок, где он как-то был по делам. Как они ехали в автобусе, как ночью приехали в Валдай, там все было черно и один только ресторан еще жил, светился; как он выпил стакан старки и опьянел, и ему весело было в автобусе, потому что рядом ехала она и глухой ночной порой дремала, прислонясь к нему. И как они приехали на рассвете, и хоть была середина августа и в Москве зарядили дожди, здесь было чисто и светло, всходило солнце, белянские домики, острые красные черепичные крыши, обилие садов, глушь, и тишина, и заросшие курчавой травкой между камнями улицы.

Они поселились в чистой, светлой комнате, везде там по подоконникам, под кроватью и в шкафу лежали, зрели антоновские яблоки и крепко пахли. Был еще богатый рынок, они ходили вместе и выбирали себе копченое сало, мед кусками, масло, помидоры и огурцы (дешевизна была баснословная). И этот запах из пекарни, непрерывное воркование и плеск крыльев голубей. А главное — она, такая неожиданная, будто бы совсем незнакомая и в то же время любимая, близкая. Какое было счастье, и еще, наверное, не такое будет, только бы не было войны!

Последнее время он часто думал о войне и ненавидел ее. Но теперь, глядя на сияющий снег, на леса, на поля, слушая гул и звон рельсов, он с уверенностью подумал, что никакой войны не будет, так же как не будет и смерти вообще. Потому что, подумал он, есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла.

Они сошли чуть не последними на далекой станции. Снег звонко закрипел под их шагами, когда они пошли по платформе.

— Какая зима! — снова сказала она, щурясь. — Давно такой не было!

Им надо было пройти километров двадцать до его дачи, переночевать там, покататься еще днем и возвратиться вечером домой, по другой железной дороге.

У него был маленький фруктовый участок с летней дощатой дачкой, а на этой дачке — две кровати, стол, грубые табуретки и чугунная немецкая печка.

Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у нее, и они потихоньку двинулись. Сначала они хотели идти быстрее, чтобы пораньше добраться до дому, успеть прогреть его хорошенько и отдохнуть, но идти быстро в этих полях и лесах невозможно было.

— Смотри, какие стволы у осин! — говорила она и останавливалась. — Цвета кошачьих глаз.

Он тоже останавливался, смотрел — и верно, осины были желто-зелены наверху, совсем как цвет кошачьих глаз.

Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой то и дело повисал между стволами, и ели, освобожденные от груза, раскачивали лапами.

Они шли с увала на увал и видели иногда сверху деревни с белыми крышами. Во всех избах топились печи, и деревни исходили дымом. Дымки поднимались столбами к небу, но потом сваливались, растекались, затягивали, закутывали окрестные холмы прозрачной синью, и даже на расстоянии километра или двух от деревни слышно было, как пахнет дымом, и от этого запаха хотелось скорей добраться до дому и затопить печку.

То они пересекали унавожженные, затертые до блеска полозьями дороги, и хоть был декабрь, в дорогах этих, в клочках сена, в голубых прозрачных тенях по колеям было что-то весеннее, и пахло весной. Один раз по такой дороге в сторону деревни проскакал черный конь, шерсть его сияла, мышцы переливались, лед и снег брызгали из-под подков, и слышен был drobный хруст и фырканье. Они опять остановились и смотрели ему вслед.

То нервно и взлохмаченно летела страшно озабоченная галка, за ней торопилась другая, а вдали ныряла, не выпуская галок из виду, заинтересованная сорока: что-то они узнали? И на это нужно было смотреть. А то качались, мурлыкали и деловито копошились на торчащем из-под снега татарнике снегири — необыкновенные среди мороза и снега, как тропические птицы, и сухие семена от их крепких, толстых клювов брызгали на снег, ложась дорожкой.

Иногда им попадался лисий след, который ровной и в то же время извилистой строчкой тянулся от быльи к быльи, от кочки к кочке. Потом след поворачивал и пропадал в снежном сиянии. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или беличьи в осино-вых и березовых рощах.

Эти следы таинственной ночной жизни, которая шла в холодных пустынных полях и лесах, волновали сердце, и думалось уже о ночном самоваре перед охотой, о тулупе и ружье, о медленно текущих звездах, о черных стогах, возле которых жируют по ночам зайцы и куда издали, становясь иногда на дыбки и поводя носом, приходят лисицы. Воображался громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревьям и остывающие, стекленеющие глаза растянувшегося зайца, отражение звезд в этих глазах, заиндевелые толстые усы и теплая тяжесть заячьей тушки.

Внизу, в долинах, в оврагах, снег был глубок и сух, идти было трудно, но на скатах холмов держался муаровый наст с легкой порошей — взбираться и съезжать было хорошо. На далеких холмах, у горизонта, леса розово светились, небо было сине, а поля казались безграничными.

Так они и шли, взбираясь и скатываясь, отдыхая на поваленных деревьях, улыбаясь друг другу. Иногда он брал ее сзади за шею, притягивал и целовал ее холодные обветренные губы. Говорить почти не говорили, редко только друг другу: «Посмотри!» или «Послушай!».

Она была, правда, грустна и рассеянна и все отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая ее, а когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением, он спрашивал осто-

рожно, — он-то знал, как неприятны спутнику такие вопросы:

— Ты не устала? А то отдохнем.

— Что ты! — торопливо говорила она. — Это я так просто... Задумалась.

— Ясно! — говорил он и продолжал путь, но уже медленней.

Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли еще; леса же, долины и овраги давно стали сизеть и гложнать, и по-прежнему по необозримому пространству лесов и полей двигались две одинокие фигурки — он впереди, она сзади, и ему было приятно слышать шуршание снега под ее лыжами и чирканье палок.

Однажды в розовом сиянии за лесом, там, где зашло уже солнце, послышался ровный рокот моторов, и через минуту показался высоко самолет. Он был один озарен еще, солнечные блики вспыхивали на его фюзеляже, и хорошо было смотреть на него снизу, из морозной сумеречной тишины, и воображать, как в нем сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать.

В сумерки они наконец добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, отомкнули дверь, вошли. В комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице.

Она сразу легла, закрыла глаза. Дорогой она разгорячилась, вспотела, теперь стала остывать, озноб сотрясал ее, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающуюся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась — и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое, алое — все цвета, на которые нагляделась она за день.

Он доставал из-под террасы дрова, грохал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, кряхтел, а ей не хотелось ничего, и она была не рада, что поехала с ним в этот раз.

Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он и разделся, снял ботинки, носки, развесил все возле печки, сидел в нижней рубаше — довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил.

— Устала? — спросил он. — Давай раздевайся!

И хоть ей не хотелось шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады, она все-таки послушно разделась и то-

же развесила сушить куртку, носки, свитер, осталась в одной мужской ковбойке навыпуск, села на кровать, опустила плечи и стала глядеть на лампу.

Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, взял ведро, которое, когда он вышел на веранду, вдруг певуче зазвенело. Вернувшись, он поставил на печку чайник, стал рыться в рюкзаке, доставал все, что там было, и раскладывал на столе и подоконнике.

Она молча дождалась чаю, налила себе кружку и потом тихо сидела, жевала хлеб с маслом, грела горячей кружкой руки, прихлебывала и все смотрела на лампу.

— Ты что молчишь? — спросил он. — Какой сегодня день был! А?

— Так... Устала я страшно сегодня... — Она встала и потянулась, не глядя на него. — Давай спать!

— И это дело, — легко согласился он. — Погоди, я дров подложу, а то дом настыл...

— Я сегодня одна лягу, можно вот здесь, у печки? Ты не сердись, — торопливо сказала она и опустила глаза.

— Что это ты? — удивился он и сразу вспомнил весь ее сегодняшний грустно-отчужденный вид, а вспомнив, озлобился, и сердце у него больно застучало.

Он понял вдруг, что совсем ее не знает — как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит. И что она для него загадочна, как и в первую встречу, незнакома, что он, наверное, груб и туп для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было.

И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу и печку, и даже почему-то за мороз и солнце и за свой покой: зачем ехали, зачем все это нужно? И где же это хваленое проклятое счастье?

— Ну что ж... — сказал он равнодушно и перевел дух. — Ложись, где хочешь.

Не взглянув на него, не раздеваясь, она сразу легла, накрылась курткой и стала смотреть в печку на огонь. Он перешел на другую кровать, сел, закурил, потом потушил лампу и лег. Горько ему стало, потому что он чувствовал: она от него уходит. Что-то не выходило у них со счастьем, но что, он не знал и злился.

Через минуту он услышал, что она плачет. Он при- встал, посмотрел через стол на нее. От печки было



довольно светло, а она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел ее несчастное, залитое слезами лицо, жалко и некрасиво кривящиеся дрожащие губы и подбородок, мокрые глаза, которые она все вытирала тонкой рукой.

Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дядьями и тетками, перед его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны.

Потом она стала засыпать, и ей пригрезилась снова ее давнишняя мечта, с которой она засыпала каждый раз еще девочкой. Что будто бы он сильный и мужественный и любил ее, а она его тоже любила, но почему-то говорила: «Нет!» — и он уехал далеко на Север и стал рыбаком, а она страдала. Он там охотился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал все время о ней. Однажды она поняла, что счастье у нее только с ним, все бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой: летчики, шоферы, моряки, но она никого не видела, а думала только о нем. Встреча с ним должна была быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывались все новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту. Так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним.

Давно уже не думала она на сон ни о чем подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать. Но и сегодня, в то время, когда она уже ехала на попутном мотоцикле, мысли ее стали мешаться, и она уснула.

Проснувшись она ночью оттого, что было холодно. Он сидел на корточках и растоплял остывшую печку. Лицо у него было грустное, и ей стало его жалко.

Утром они помолчали сначала, молча завтракали, пили чай. Но потом повеселели, взяли лыжи и пошли кататься. Они взбирались на горы, съезжали, выбирая все более крутые и опасные места.

Дома они грелись, говорили о незначительном, о делах, о том, какая все-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темнеть, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию.

К Москве они подъезжали вечером, дремали, но когда показались большие дома, ряды освещенных окон, он подумал, что сейчас им расставаться, и вдруг вообразил ее своей женой.

Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным — дом, жена, семья и тому подобное, — время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой и она хороша и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, — в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады.

Завтра целый день в юридической консультации писать кассации, заявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой — к кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка — и опять — с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее и делать все так, чтобы ей было хорошо.

Когда они вышли на вокзальную площадь, горели фонари, шумел город, а снег уже успели убрать, увезти, и они оба почувствовали, что их поездки как бы и не было, не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провозжал.

1962



СВЕЧЕЧКА

Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться, — хоть вешайся!

Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А за окнами давно уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг дома начинал шуметь печальным голым шумом.

Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя...

Дождя не было.

Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять.

Но сначала я хочу сказать тебе о твоей страсти. А страсть тогда была у тебя одна: автомашины! Ты ни о чем не мог думать в те дни, кроме как об автомашинах. Было их у тебя дюжины две — от самого большого деревянного самосвала, в который ты любил садиться, подобрав ноги, и я возил тебя в нем по комнатам, до крошечной пластмассовой машинки, величиной со спичечный коробок. Ты и спать ложился с машиной и долго катал ее по одеялу и подушке, пока не засыпал...

Так вот, когда вошли мы в аспидную черноту ноябрьского вечера, ты, конечно, крепко держал в руке маленький пластмассовый автомобильчик.

Медленно, еле угадывая во тьме дорожку, пошли мы к воротам. Кусты с обеих сторон, сильно наклонившиеся под тяжестью недавнего снега, который потом растаял, касались наших лиц и рук, и прикосновения эти напоминали уже навсегда невозвратное для нас с тобой время, когда они цвели и были мокры по утрам от росы.

Поравнявшись с другим нашим домом, в котором был гараж, ты вдруг побежал к гаражу и взялся за замок.

— Хочешь кататься на настоящей машине! — сказал ты.

— Что ты, милый! — возразил я. — Теперь поздно, скоро спать... А потом — куда же мы поедем?

— Поедем... поедем... — Ты запнулся, перебирая в уме места, куда бы мы могли поехать. — В Москву!

— Ну — в Москву! — сказал я. — Зачем нам Москва? Там шумно, сыро, а потом это ведь так далеко!

— Хочешь далеко! — упрямо возразил ты.

— Ладно, — согласился я, — поедем, но только через три дня. Зато я тебе обещаю: завтра мы поедем с тобой в магазин, а теперь ведь мы вышли просто погулять? Давай руку...

Ты покорно вздохнул и вложил в мою руку свою маленькую теплую ладошку.

Выйдя за ворота и подумавши несколько, пошли мы с тобой направо. Ты шел впереди, весь сосредоточась на своем автомобильчике, и по твоим движениям, смутно различимым в темноте, я догадывался, что ты его катаешь то по одному, то по другому рукаву. Иногда, не выдержав, ты присаживался на корточки и катал свой автомобильчик уже по дороге.

Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своем воображении? Я останавливался в ожидании, пока далекая твоя, неведомая мне дорога кончится, когда приедешь ты куда-нибудь и мы пойдем с тобой дальше.

— Слушай, любишь ты позднюю осень? — спросил я у тебя.

— Любишь! — машинально отвечал ты.

— А я не люблю! — сказал я. — Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек, поздних рассветов и серых дней! Вся увядоша, яко трава, вся потребишася... Понимаешь ты, о чем я говорю?

— Понимаешь! — тотчас откликнулся ты.

— Эх, малыш, ничего ты не понимаешь... Давно ли было лето, давно ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало чуть не в три часа утра? И лето, казалось, будет длиться вечность, а оно все убывало, убывало... Оно прошло как мгновение, как один удар сердца. Впрочем, мгновенным оно было только для меня. Ведь чем ты старше, тем короче дни и страшнее тьма. А для тебя, может быть, это лето было как целая жизнь?

Но и ранняя осень хорошо: тихо светит солнце, по утрам туманы, стекла в доме запотевают... А как горели клены возле нашего дома, какие громадные багряные листья собирали мы с тобой!

А теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому! Понимаешь?

Ты молчал, мчась куда-то на своей машине, удаляясь от меня, как звезда. Ты так далеко уехал, что когда нам пришлось свернуть с тобой вбок по дороге и я свернул, то ты не свернул. Я догнал тебя, взял за плечо, повернул, и ты послушно пошел за мной: тебе все равно было, куда идти, ведь ты не шел, ты ехал!

— Впрочем, — продолжал я, — не обращай внимания, это мне просто тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно — и ноябрь тоже! Ноябрь — как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво, — это просто кажется, а на самом деле все живет.

Вот когда-нибудь ты узнаешь, как прекрасно идти под дождем, в сапогах, поздней осенью, как тогда пахнет, и какие мокрые стволы у деревьев, и как хлопотливо перелетают по кустам птицы, оставшиеся у нас зимовать. Погоди, сделаем мы кормушку у тебя под окном, и станут к тебе прилетать разные синички, поползни, дятлы...

Ну, а то, что деревья сегодня кажутся мертвыми, то это просто от моей тоски, а на самом деле они живы, они спят.

И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре? Почему так жадно ездим мы на концерты, в гости друг к другу, почему так любим огни, лампы? Может быть, миллион лет назад люди тоже засыпали на зиму, как засыпают теперь медведи, барсуки и ежи, а теперь вот мы не спим?

А в общем, не беда, что темно! Ведь у нас с тобой есть теплый дом и свет, и, вернувшись, мы растопим камин и станем смотреть в огонь...

Вдруг словно мышь пробежала у меня по рукаву, потом по спине, потом по другому рукаву — это ты ехал уже по моей дубленке и, проехав какое-то воображаемое расстояние, опять побежал вперед.

— Ничего, — заговорил я снова, — скоро ляжет зазимок, станет светлее от снега, и тогда мы с тобой славно покатаемся на санках с горки. Тут рядом с нами есть деревушка Глебово, вот туда мы и будем ходить, там такие хорошие горки — как раз для тебя! И станешь ты надевать шубку и валенки, и без варежек уже нельзя будет выходить на двор, а возвращаться ты будешь весь в снегу и входить в дом румяным с мороза...

Я оглянулся: сквозь голые деревья только один наш дом светил окнами в непроглядной тьме. С соседних дач все давно съехали, и они сиротливо и мертво отражали иногда своими стеклами свет редких неярких фонарей.

— Счастливый ты человек, Алеша, что есть у тебя дом! — вдруг неожиданно для самого себя сказал я. — Это, малыш, понимаешь, хорошо, когда есть у тебя дом, в котором ты вырос. Это уж на всю жизнь... Недаром есть такое выражение: «отчий дом»! Хотя не знаю, почему, например, не «материнский дом»? Как ты думаешь? Может, потому, что дома испокон веку строили или покупали мужики, мужчины, отцы?

Так вот, милый, у тебя-то есть дом, а у меня... Не было никогда у меня отчего дома, малыш! А где я только не жил! В каких домах только не проходили мои дни — и в сторожках бакенщиков, и на лесных кордонах, и в таких, где и перегородки-то не до потолка, и в таких, которые топились по-черному, и в хороших старых домах, в которых и фарфор был, и рояли, и камин, и даже — представь себе! — даже в замке пришлось пожить, в самом настоящем замке — средневековом, далеко, во Франции, возле Сан-Рафаэля!

А там, братец ты мой, по углам и на лестницах стояли рыцарские доспехи, по стенам висели мечи и копья, с которыми еще крестоносцы ходили в свои походы, и

вместо деревянных полов были каменные плиты, а камин в зале был такой, что быка целого можно в нем зажарить, а рвы кругом какие были, а подъемный мост на цепях, а башни по углам!..

И отовсюду приходилось мне уезжать, чтобы больше уже никогда туда не вернуться... Горько это, сынок, горько, когда нету у тебя отчего дома!

Вот, знаешь, ехали мы в один прекрасный день на пароходе с приятелем по чудесной реке Оке (погоди, милый, подрастешь ты, и повезу я тебя на Оку, и тогда ты сам увидишь, что это за река!). Так вот, ехали мы с товарищем к нему домой, а не был он дома больше года. До дома его было еще километров пятнадцать, а приятель уж стоял на носу, волновался и все показывал мне, все говорил: вот тут мы с отцом рыбу ловили, а вон там такая-то горка, а вон, видишь, речка впадает, а вон такой-то овраг...

А была весна, разлив, дебаркадеров еще не поставили, и поэтому, когда мы приехали, пароход наш просто ткнулся в берег. И сходни перебросили, и сошли мы на берег, а на берегу уж ждал отец моего приятеля, и тут же лошадь стояла, запряженная в телегу.

Вот ты все мчишься на своей автомашине и не знаешь даже, что куда лучше ехать на телеге или в санях по лесной или полевой дороге — смотришь по сторонам, думаешь о чем-то, и хорошо тебе, потому что чувствуешь всей душой, что все, что вокруг тебя, все это и есть твоя родина!

И взвалили мы все свои чемоданы и рюкзаки на телегу, а сами пошли на изволок, вверх по скату, по весеннему прозрачному лесу, и чем ближе подходили к дому, тем сильнее волновался мой приятель.

Еще бы! Ведь дом этот, малыш, строил дед моего товарища, и отец и мать прожили здесь всю жизнь, и товарищ мой тут родился и вырос.

И как только вошли мы в этот дом, так и пропал мгновенно мой товарищ, побежал по комнатам, побежал здороваться с домом. А и было же с чем здороваться! Ведь дом тот был не чета нашему с тобой и недаром назывался: «Музей-усадьба».

Столько там было милых старых вещей, столько всех этих диванов с погнутыми ножками, резных стульев, столько прекрасных картин висело по стенам, такие за-

унывные и радостные пейзажи открывались из окон! А какие разные были там комнаты: светлые, с громадными окнами, узкие, длинные, затененные деревьями и совсем крохотные, с низкими потолками! А какие окна там были — большие, маленькие, с внезапными витражами в верхних фрамугах, с внезапными формами, напоминающими вдруг то фигурные замковые окна, то бойницы... А между комнатами, коридорами, закоулками, площадками — какие шли скрипучие антресоли, лестницы с темными перилами, истертыми ступеньками. И какими, наконец, старыми, приятными запахами пропитана была там каждая вещь, и не понять было — не то пахло чебрецом, сорванным когда-то какой-нибудь романтической мечтательницей, не то старыми книгами, целый век простоявшими в шкафах, пожелтевшими, с сухой кожей и бумагой, не то пахли все эти лестницы, перила, мебель, дубовые балки, истончившийся паркет...

Ты не думай, малыш, что дома и вещи, сделанные человеком, ничего не знают и не помнят, что они не живут, не радуются, не играют в восторге или не плачут от горя. Как все-таки мало знаем мы о них и как порою равнодушны к ним и даже насмешливы: подумаешь, старье!

Так и ты уедешь когда-нибудь из отчего дома, и долго будешь в отлучке, и так много увидишь, в таких землях побываешь, станешь совсем другим человеком, много добра и зла узнаешь...

Но вот настанет время, ты вернешься в старый свой дом, вот поднимешься на крыльцо, и сердце твое забьется, в горле ты почувствуешь комок, и глаза у тебя защиплет, и услышишь ты трепетные шаги старой уже твоей матери — а меня тогда, скорей всего, уж и не будет на этом свете, — и дом примет тебя. Он обвеет тебя знакомыми со младенчества запахами, комнаты его улыбнутся тебе, каждое окно будет манить тебя к себе, в буфете звякнет любимая тобою прежде чашка, и часы особенно звонко пробьют счастливый миг, и дом откроется перед тобою. «Вот мой чердак, вот мои комнаты, вот коридор, где любил ты прятаться... А помнишь ты эти обои, а видишь ты вбитый когда-то тобой в стену гвоздь? Ах, я рад, что ты опять здесь, ничего, что ты теперь такой большой, прости меня, я рос давно, когда

строился, а теперь я просто живу, но я помню тебя, я люблю тебя, поживи во мне, возвратись в свое детство!» — вот что скажет тебе твой дом.

Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне, не в отцовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в тоске или в радости, как птица возвращается в свое гнездо.

И поверь, малыш, совсем не смешно мне было, когда один мой друг, рассказывая о войне, о том, как он соскакивал с танка, чтобы бежать в атаку, — а был он десанником, — и кругом все кричали: «За Родину!», и он вместе со всеми тоже кричал: «За Родину!», а сам видел в эти, может быть, последние свои секунды на земле не Родину вообще, а отцовский дом, и сарай, и сеновал, и огород, и поветь в деревне Лопшеньга на берегу Белого моря!

Так, разговаривая о том о сем, свернули мы с тобой на едва светлевшую аллею в лесу, который полого спускался к крохотной речке Яснушке. Тут стало так темно, что я тебя почти не видел и поймал опять твою нежную руку.

Дойдя до речки, дальше мы не пошли, чтобы не переходить во тьме скользких узеньких мостков.

Внизу едва внятно бежала по камешкам вода. Ветер иногда касался вершин берез и елей, и они начинали отдаленно шуметь. Вдохнув несколько раз горький, сиротский запах мокрой земли и облетевших листьев, я решил закурить — и выпустил твою руку.

Пламя спички показалось мне ослепительным, пока я прикуривал, и несколько секунд после этого плавали перед глазами оранжевые пятна.

Когда же я опустил руку, чтобы тронуть тебя за плечо, снова взяться за твою нежную ладонь и повернуть назад, к дому, — тебя не было возле меня!

— Алеша! — позвал я.

Ты не отозвался.

И мгновенно вспомнил я, как часто, заигравшись, ты не откликался, когда тебя звали.

Мгновенно представилась мне солнечная поляна в августе, по которой я чуть не час ползал, срезая рыжики и опята и оглядываясь временами на тебя: где ты? А ты за этот час ни разу не подумал обо мне, не подбежал ко

мне — ты ходил по опушке, выискивая самые большие пни, и катал по ним свою машину.

Я помертвел, вообразив, как ты в этой черноте, занятый своим автомобильчиком, все дальше уходишь в лес. И ведь мертвые дачи во всей округе, даже днем души не увидишь нигде!

И что с тобой станет, когда, очнувшись наконец от своей игры где-нибудь далеко в лесу, ты станешь звать меня, исходить в захлебывающемся крике, а я тебя уже не услышу?

Как бросался ты со всех ног к настоящему автомобилю, когда я выезжал из гаража, собираясь ехать в магазин. Как торопливо обрывался ты, не попадая коленками на порог кабины, когда я открывал тебе дверцу. И как потом счастливо стоял всю дорогу на цыпочках, уцепившись побелевшими пальчиками за панель, потому что был ты еще таким маленьким, что, когда садился на сиденье, тебе не было видно дороги впереди. И как упоенно шептал ты изобретенное тобой словечко, когда мы переезжали какую-нибудь трещину в асфальте и слышался сдвоенный мягкий толчок колес:

— Ждаль-ждаль!..

И я подумал с ужасом, что, катая сейчас свою машину по стволам деревьев или по своим рукам и уходя все дальше от меня, ты в воображении своем, может быть, едешь на настоящей автомашине, слышишь звук мотора, и фары ярко освещают дорогу перед тобой, и светится в кабине панель, и дрожат красные стрелки на ней, и зеленый глазок загадочно горит — до того ли тебе, что тьма вокруг, а я не знаю даже, в какую сторону ты едешь!

Я присел, надеясь снизу увидеть бледное пятно твоего лица, если ты недалеко ушел. Потом зажег спичку и, загородив ее ладонью от себя, сделал несколько шагов в одну сторону, потом зажег еще, пошел в другую... После неверного, колеблющегося света спички, хватавшего едва ли на два шага, стало как бы еще темнее.

— Алешка! Иди сейчас же ко мне! — звал я тебя то ласково, то строго.

Шумел поверху лес...

— Алеша, пошли домой, мы там свет будем включать и свечки зажжем... — жалко добавил я, вспомнив, как ты любишь зажигать и гасить бесчисленные лампочки в доме, как любишь горящие свечи.

«Папа, поднеси меня, пожалуйста, к выключателю!» — бывало, просил ты, подходя, обнимая мои колени, и, закинув вверх голову, счастливо заглядывал мне в лицо.

Я брал тебя на руки, ты упирался пальчиком в кнопку выключателя, щелкал, тут же мгновенно оборачивался, взглядывал на лампу и упоенно выпевал: «Лампочка голи-ит!»

Но и выключатели и свечки не действовали — ты не откликнулся.

Тогда мне счастливо пришло в голову последнее средство, и я оживленно-фальшивым голосом громко воскликнул:

— А ну-ка, иди скорей сюда! У меня в кармане есть такая автомашинка! Скорей!

И тотчас зашуршали по листве твои торопливые шаги, и ты подбежал ко мне. Острое же зрение было у тебя!

— Хочешь такую машинку! — с торопливой готовностью к новому счастью сказал ты, хватая меня сначала за одну, потом за другую руку.

— Никаких тебе машин! — страдальчески, даже злобно закричал я в ответ и только теперь почувствовал, как обдало меня холодным потом и как колотится мое сердце. — Мерзкий ты мальчишка! Как смеешь ты не откликаться, когда папа тебя зовет!

Но ты еще не верил, что тебя обманули и что новую машину ты не получишь, ты полез мне в карманы...

Ты потрясен был обманом, и как долго пришлось мне, присев на корточки, успокаивать тебя, обнимать, поглаживать по спине и вытирать ладонью твои слезы.

Велико же и младенческое горе!

Домой пришли мы обиженные друг на друга.

— И никакого камина я тебе не растоплю, и никаких свечек тебе не будет, никаких выключателей, и гулять мы с тобой больше никогда не пойдем! — выговаривал я тебе дорогой. — И вообще, не будь ты такой маленький, я бы тут же поставил тебя в угол на целый час! И все бы машины отобрал и запер!

Ты молча бежал впереди меня, не желая со мной разговаривать. Придя домой, я сердито включил телевизор, а ты ходил по столовой и играл сам с собой. (До сих пор простить себе не могу, что, сердясь на тебя, так дол-

го смотрел какую-то скучную передачу!) Ты мог часами играть один, не обращая ни на кого внимания, но в тот вечер ты томился.

Тебе не хотелось быть одному, и ты иногда подходил к телевизору, как бы приобщаясь ко мне, соединяясь со мной, заранее виновато, но в то же время шаловливо улыбался, пытался нажать какую-нибудь кнопку и тут же укоризненно восклицал, обращаясь сам к себе, зная, что я скажу:

— Алеша, ну зачем ты это делаешь?

Я досадливо отводил тебя рукой, говорил: «Не мешай!» — и ты вздыхал, покорно отходил, катал свою машину по столу и шептал, подражая звуку передних и задних ее колес, когда она переезжала какое-нибудь препятствие:

— Ждаль-ждаль!

Я иногда оглядывался на тебя рассеянно, проверяя, не делаешь ли ты чего-нибудь такого, чего тебе нельзя делать, — ведь жизнь твоя состояла из сплошных ограничений: нельзя было стаскивать скатерть со стола, брать спички, рисовать в книгах, да мало ли что еще, всего не перечтешь!

Но вот я взглянул на тебя пристальней, встретил твой какой-то особенный, ожидающий взгляд и увидел твоё томление и как бы мечту о чем-то. Звук, ток укоризны и вопрошения исходил от тебя, и сердце мое забилось.

— Ну-ну, милый, ладно! — сказал я. — Иди ко мне...

А когда ты подошел, потупившись, с несмело-выжидательной полуулыбкой, я обнял тебя и почему-то тихо сказал тебе на ухо, одновременно с замиранием вдыхая запах твоих волос:

— Хочешь, поиграем вместе?

— Хочешь! — тотчас звонко сказал ты.

— Гм... А во что же мы станем играть? Знаешь что? Иди-ка ты садись у той стены, и мы будем друг к другу катать машину. Ладно?

Как мгновенно преобразился ты, какое счастье переполнило тебя сразу, как кинулся ты опрометью от меня, наклоняясь вперед, будто летя, и, еще не добегая до стены, уже приседая, полуоборачиваясь одновременно, с разбегу упал на четвереньки, потом сел, повернулся ко мне лицом и — уже придвигаясь задом, прижимаясь к

стене спиной, расставляя ноги, чтобы удобнее было лопотать машину, с выражением восторга, ожидания, но в то же время и робко еще — не раздумал ли я? — взглянул своими потемневшими, расширившимися от волнения глазами на меня!

Дождавшись, пока ты окончательно устроился и укрепился, я пустил к тебе инерционную машину, и, нежно жужжа, она покатила к тебе через всю столовую. Ты же, пригнувшись до полу, стараясь заглянуть ей под колеса, упиваясь их непостижимым, таинственным вращением, жадно ждал ее, поймал, крепко сжал ее своими короткими пальчиками и, уже доверчиво, общипываясь взглядом на меня, засмеялся своим непрерывно льющимся, закатывающимся смехом, который бывает только у таких маленьких, как ты, детей, когда смех журчит и горлышко трепещет не только при выдохе, но и при вдохе...

Отодвинув кресло, к совершенному твоему восторгу, я сел на пол и, так же как ты, широко расставил ноги. И теперь уже одинаково принадлежащая нам ярко-красная пожарная машина с тонким своим жужжанием бегала от тебя ко мне и от меня к тебе.

Потом я лежал на полу перед тобой — но ты сидел! — и уже не пускал автомобильчик, а медленно катал его, выделявая самые прихотливые повороты, подражая звуку мотора и сигнала, а ты, весь напрягшись, вытянув шейку, следя за малейшим движением машины, за всеми ее поворотами и разворотами, будто одной своей волей, одним взглядом управляя ею, только нежно и обожающе произносил иногда своим свирельным голоском, когда автомобильчик переезжал с половицы на половицу:

— Ждаль-ждаль!

И еще одно счастье в этот вечер ожидало тебя, и ты знал об этом!

Когда пришла пора тебе спать, я раздел тебя, уложил в кровать, укрыл одеялом, погасил свет и вышел. Из детской твоей не доносилось ни звука, но я знал, что ты не спишь, дожидаясь последнего за этот день наслаждения. Я знал, что, зарывшись с головой в подушку, затаив дыхание, с бьющимся сердцем, ты ждешь меня, ждешь той захватывающей минуты, когда я приду к тебе со свечкой.

Надо сказать, что у нас с тобой был чудесный подсвечник — мне подарили его в Германии. А представлял он из себя фарфорового добродушного человечка, столбиком стоявшего на медной подставке, — с круглым животом, в камзоле, в коротких панталонах, в белых чулках, с пухлыми щечками и с шандалом на треугольной шляпе.

И вот зажег я свечу в этом подсвечнике, подождал некоторое время, пока она получше разгорится, а потом медленно, шагами командора, подошел к твоей комнате и остановился перед дверью.

Ну, несомненно же ты слышал мои шаги, знал, зачем я подошел к твоей двери, видел свет свечи в щелочке между дверью и косяком, но терпеливо, весь напрягшись, ждал.

Наконец я торжественно, медленно стукнул тебе в дверь три раза: тук! тук! тук! — тотчас услышал стремительный шорох — ты вскочил, как пружинка, открыл дверь (кровать твоя стояла рядом с дверью) и выговорил нараспев:

— Све-е-ечечка!

Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой.

«Да ты сам свечечка!» — подумал я и сказал:

— Ну! Давай!

— Это... это... — заторопился ты, трогая пальцем подставку, — подсвечничек!

— Так. Дальше?

— Это животик...

— Э, братец кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку!

— Знаешь, знаешь! — заспешил ты, торопясь поскорее добраться до главного. — Подсвечничек, потом ножки, потом штанишки и уже животик... Потом головка... шапочка...

— Опять пропустил! — напомнил я.

— Щечки, носик... — спохватился ты. — Потом шапочка, а это... это... — запнулся ты, не зная, как назвать шандал, укрепленный на треуголке, — это такая штука...

И вот наконец главное!

— Све-е-ечечка го-ли-и-ит! — с упоением протянул ты.

— Ну вот, — весело сказал я. — Вот и все. Теперь спать. Гаси свечку — и бай-бай. Хорошо?

Еще несколько секунд глядел ты на огонь свечи своими огромными лучистыми глазами, и на лице твоём промелькнула некая таинственная тень, будто хотел ты остановить мгновение, потом лицо твоё опять просияло, ты вздохнул легко, дунул на свечку и, восторженно взбрыкнув ногами, бросился головой в подушку.

Перекрестив тебя и укрыв одеялом, погладив пушистые твои волосики, я вышел и стал ходить по столовой.

Я думал о тебе, и мне пришла вдруг на память поздняя осень на Севере и одинокие мои скитания. Однажды я возвращался с охоты вечером, и была такая же тьма, как и сегодня, вдобавок ещё дождь моросил, и я заблудился. Отшагал за день я не меньше сорока километров, ружье и рюкзак казались мне до того тяжелыми, что готов был бросить их.

Я уж потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнетало, — хоть кругом на сотни километров были глухие леса! — а угнетало то, что все было мокро, под ногами чавкало, и не было никакой возможности развести костер, отдохнуть и обсушиться.

И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне во тьме желтый огонек. Я пошел на него. Ещё не зная, что это — костер ли охотников, окошко ли лесного кордона, — я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь...

И, вспомнив этот давний случай и думая о тебе, я почувствовал вдруг, как мне стало весело, недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова захотелось жить.

Гагра, декабрь 1973 г.



ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Был один из тех летних теплых дней...

Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвостинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывая в лицо мне синими, отражающими небо гла-

зами, и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.

Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты конечно же не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого...

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера, или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шел к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяет, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы...

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное... Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кончить, застрелиться. Но и то сказать — у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось и все казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, заволаживает. А это ведь смерть лезла!

— Слушай, дай ты мне, ради Бога, патронов! — попросил он однажды. — У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам — ходит кто-то по дому! А везде тихо, как в гробу... Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

— Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться.

А какой работник он был, каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придешь к нему — и если летом зайдешь со стороны веранды, — поднимешь глаза на растворенное окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

— Митя!

— Ау! — тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным, отсутствующим взором. Потом — слабая улыбка, взмах тонкой руки: — Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как, бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую с шага на рысь.

— Да что ты распускаешься! — говорил он мне, когда я болел или хандрил. — Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке! Что ты все сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой...

Последний раз видел я его в середине октября. Пришел он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печальное, но разговор у нас начался бодрый — о буддизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь...

Я пошел его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

— Когда я был такой, как твой Алеша, — заговорил он, несколько успокоясь, — мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно — так предаваться одному месту? Ты Алешу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле — мне так хотелось, чтобы они полюбили ее, ведь, по-настоящему, это же их родина!.. Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клен!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так сине, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...

А три недели спустя, в Гагре — будто гром грянул для

меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей...

Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на темном берегу, возле невидимого во тьме прибора, слушали его гул, слушали влажный щелкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, — я шел по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчетливые черные следы. Я свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, вошел в темноту елей, повернул направо... Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осененную елями, с полыхающими окнами.

Когда же все-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по светлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей темной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу...

«Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?» — «Еще бы! — отвечал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем в руку толчиной, осинку эту как бритвой срежет!»

До сих пор мучит меня мысль: что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьем со взведенным курком, с разнутой ногой? Дернул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвел бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, он раздумает, отставит ружье, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнет, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?



И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, — отбросил бы ружье и кинулся бы с радостью ко мне или, наоборот, с ненавистью взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли — и не может, отступает...

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принес дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло это! О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыйный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон. Мой патрон!

По всему дому горел свет. Зажег свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвел курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы...

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слез? Или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок или, по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами? И — зажмурился ли перед выстрелом или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь?

Нет, не слабость — великая жизненная сила и твердость нужна для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? — ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потемках...

Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, еще раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, Митя пошел к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который предвкушали еще с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

О, какой долгий путь предстоял нам — чуть не целый километр! И какое разнообразие ожидало нас на этом пути, правда отчасти уже знакомом тебе, исхоженном не раз, но разве одно время похоже на другое время, хотя бы даже и один час на другой? То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порывкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь и бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки лаково блестели, и тропинка маслянисто темнела, то дул ветер и лопотали осины, шумели вершинами березы и ели, то бывало утро, то полдень, то холодно, то жарко — ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева — ничего!

На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цвета, без той пронзительной синевы, которая рекою льется нам в глаза ранней весной или бьет нам в душу в разрывах низких туч поздней осенью. А на тебе

в тот день были коричневые сандалии, желтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки белыми, а серые с фисташковыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели...

Сначала мы пошли в противоположную от ворот стору, к задней калитке, по тропе, испещренной солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. Потом ты остановился как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляния, нашел ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку.

Потупившись от радости, что я угадал твоё желание, ты взял ее и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке, и высокие, со скрипичными завитками на верхушках, еще мокрые в тени папоротники.

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня, но какое бы раннее детство мне ни вспомнилось, всюду я был старше тебя, пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух, окружавший нас, не кинулся с той стороны долинки, по дну которой текла Яснушка, теплый запах разогретых на солнце лугов.

— Але-ши-ны но-жки... — нараспев, машинально сказал я.

— Бегут по до'ожке... — тотчас послушно откликнулся ты, и по дрогнувшим твоим прозрачным ушкам я понял, что ты улыбнулся.

Да, и я так же бежал когда-то во тьме времен, и было лето, пекло солнце, и такой же луговой запах гнал пушистый ветерок...

Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей. В одной кучке, стоявшей на опушке жиденького березового леса, были почему-то только женщины и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынками. А на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шеренгу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли буро-красные теп-

лушки, чухающий далеко впереди и выпускающий высокий черный дым паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастерках.

И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слезы, щурилась и все спрашивала: «Ты видишь папу, сынок, видишь? Где он, покажи хоть, с какого краю он?» — «Вижу!» — отвечал я и действительно видел отца, стоявшего с правого края. И отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдет к нам или мы к нему.

Вдруг по нашей толпе пронесся какой-то ток, несколько мальчиков и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. Торопливо сунув мне тяжелый узелок с бельем и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув вдогонку: «Беги, сыночек, к папе, отдай ему, поцелуй его, скажи, что мы его ждем!» — и я, уставший уже от жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал...

Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце мое колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня, возьмет на руки, поцелует и я опять услышу его голос и такой уютный запах табака — ведь так давно я не видел отца, что короткая моя память о нем подернулась как бы пелом и обернулась жалостью уже к себе за то, что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, без его голоса, без его взгляда на себя. Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец...

Выйдя через калитку в лес, мы повернули направо, в сторону ротонды, которую когда-то начал строить наш сосед, но не достроил, и теперь она дико серела своим бетонным куполом и колоннами среди зелени елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу, с восхищением рассматривать.

Слева от нас катила по камешкам свои струи крошечная речка Яснушка. Мы ее пока не видели за разросшимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом темном омутке.

Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потеки смолы, кровавыми каплями вспыхивала там и сям земляника, невесомыми табунками толклась мошкара, невидимые в густоте листвы, перекликались птицы, мелькнув в солнечном луче, переметнулась с дерева на дерево белка, и ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась. Мир благоухал...

— Смотри, Алеша, белка! Видишь? Вон она, смотрит на тебя...

Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда ее ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое. Проводив белку взглядом, пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал ее и снова пустился в путь.

Навстречу нам, по тропе, прыгая так высоко, будто он хотел полететь, выскочил Чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас своими глубокими, длинными, как у газели, глазами, спрашивая: бежать ли ему все вперед, не собираемся ли мы повернуть назад или в сторону? Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли, он понял и опрометью бросился дальше.

Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашел и звал нас поскорее прийти.

— Слышишь? — сказал я тебе. — Наш Чиф что-то нашел и зовет нас!

Чтобы тебе не исколоться об елки и побыстрее дойти, я взял тебя на руки. Лай раздавался все ближе, и скоро под огромной прекрасной березой, стоявшей несколько особняком на едко-зеленой, сиреневой и желтой моховой полянке, мы увидели Чифа и услышали не только его лай, но и страстные, задышающиеся всхлипывания во время вдохов.

Он нашел ежика. Береза стояла метрах в тридцати от тропинки, и я в который раз подивился его чутью. Весь мох вокруг ежика был вытоптан. Завидев нас, Чиф принялся брехать еще пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил Чифа за ошейник, и мы присели перед ежиком на корточки.

— Это ежик, — сказал я, — повтори: ежик.

— Ежик... — сказал ты и тронул его палкой.

Ежик фукнул и слегка подскочил. Ты отдернул палку, потерял равновесие и сел на мох.

— Ты не бойся, — сказал я, — только его не надо трогать. Вот теперь он свернулся клубком, одни иголки торчат. А когда мы уйдем, он высунет носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты... Ему нужно много гулять, потому что он спит целую зиму. Его насыпает снегом, и он спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках?

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределенно наедине с собой или слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?

И я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представлял из себя тогда довольно тяжелый, как мне показалось, тугой и твердый сверток, который нянечка вручила почему-то мне. Я еще не донес тебя до машины, как почувствовал, что внутри свертка — теплое и живое, хоть лицо твоё было прикрыто и дыхания твоего я не ощущал.

Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и сморщенное, как всегда пишут о новорожденных, — но никакой красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил поразительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас большими глазами неопределенного серо-голубого цвета. Ты весь был чудо, и только одно портило твой вид — пластырная наклейка на пупке.

Скоро ты был снова спеленат, накормлен и уложен спать, а мы все пошли на кухню. За чаем разговор начался для женщин упоительный: о подгузниках, о сцеживании молока перед кормежкой, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же все вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твоё лицо. И вот когда я пришел к тебе в третий или четвертый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне и лицо твоё трепещет...

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка — лицо твоё приобрело выражение возвышенного, вещего знания, какие-то облачка

пробежали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования — плакал ли ты, или смеялся, или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроватью, — не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит. «Когда младенцы так улыбаются, — сказала потом моя мать, — это значит, их ангелы забавляют».

Вот и теперь, сидя над ежиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал, и я так и не понял, помнишь ли ты зиму. А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна! Такой обильный по ночам выпадал снег, а днем так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые от инея березы... Ты выходил на воздух, на снег, в валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руки палку — несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты каждый раз выбирал другую, — мы возили тебя за ворота, и начиналась упоительная поездка. Чертя палкой по снегу, ты принимался разговаривать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под нашими ногами и под полозьями санок, и все тебя слушало и понимало, одни мы не понимали, потому что говорить ты еще не умел. Ты заливался на разные лады, ты булькал и агукал, и все твои «ва-ва-ва», и «ля-ля-ля», и «ю-ю-ю», и «уип-тип-уип» означали для нас только, что тебе хорошо.

Потом ты замолкал, и мы, оглянувшись, видели, что палка твоя чернеет на дороге далеко позади, а ты, растопырив руки, спишь, и румянец вовсю горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя час и два, а ты все спал — спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстегивали и развязывали и укладывали в кровать, ты не просыпался...

Наглядевшись на ежика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел ее, остановился и, как всегда, с наслаждением выговорил:

— Кака-ая бо'ша-ая, к'аси-ивая башня!

Некоторое время ты смотрел на нее издали, повторяя изумленным тоном, будто видел ее впервые: «Кака-ая ба-ашня!», потом мы подошли, и ты стал по очереди тро-

гать своей палочкой ее колонны. Затем ты перевел взгляд вниз, на маленькое лоно прозрачного омутка, и я тотчас подал тебе руку. Так, рука об руку, мы и спустились осторожно с обрыва к самой воде. Чуть пониже был перекат, и вода там звенела, омутки же казались неподвижны, и течение можно было обнаружить, если долго следить за каким-нибудь плавающим листком, который почти с медленностью минутной стрелки подвигался к перекату. Я сел на поваленную ель и закурил, потому что знал, что сидеть здесь мне придется до тех пор, пока ты не насладишься всеми прелестями омутка.

Выронив палку, ты подошел к очень удобному для тебя корню у самой воды, лег на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку. Миллиметровый кусочек краски, отколупнутый тобой от стены дома, надолго повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование пчел, мух, бабочек и мошек занимала тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок и птиц. Какая же бесконечность, какая неисчислимость открывалась тебе на дне омутка, когда ты, лежа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разглядывал это дно! Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камешков всевозможных оттенков, какой нежнейший зеленый пух покрывал крупные камни, сколько там было прозрачных мальков, то застывавших неподвижно, то разом брызгающих в сторону, и сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом!

— Павают 'ыбки... — сообщил ты мне через минуту.

— А-а, — сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, — значит, не ушли еще в большую речку? Это такие маленькие рыбки — мальки...

— Майки... — радостно согласился ты.

Вода в омутке была столь прозрачна, что только синевы неба и верхушки деревьев, отраженные в ней, делали ее видимой. Ты, перевесившись через корень, зачерпнул со дна горсточку камешков. Облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись немного, опало. Ты бросил камушки в воду, отражения де-

ревьев заколебались, и по тому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своем занятии. Для тебя настало время бросать камни.

Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошел к самой воде и бросил его на середину омутка. Взлетели брызги, окруженный волнистыми струями воздуха, камень глухо тукнул о дно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока все успокоится, взял еще камень и, как в первый раз, оглядев его, опять бросил...

Так ты бросал и бросал, любуясь всплесками и волнами, а мир вокруг был тих и прекрасен — не доносилось шума электрички, не пролетел ни один самолет, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один Чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, с плеском вбегал в речку, шумно лакал и, вопросительно поглядев на нас, опять исчезал.

На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошел ко мне.

— Комаик кусил... — сказал ты, морщась.

Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал.

— Ну? Что будем теперь делать? Еще побросаешь или пойдем дальше?

— Пойдем дайше, — решил ты.

Я взял тебя на руки, перешел через Яснушку. Нам нужно было пересечь потную долину, вдоль которой тянулась сплошная кипень таволги. Белые шапки ее, казалось, плавались на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчел.

Тропинка начала подниматься — сначала среди ельника и лещины, потом между дубов и берез, пока не вывела нас на большой луг, окаймленный справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы поднимались уже по лугу, все выше, пока не взошли на его вершину, и нам стало далеко видно, открылся горизонт с еле заметными черточками антенн вдаль, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже начался сенокос, и хоть сено было еще в валках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землей вянувший запах. Мы с тобой сели в еще не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи, ты же ушел в них с головой, и над тобой было одно не-

бо. Я вспомнил о яблоке, достал его из кармана, до блеска вытер о траву и дал тебе. Ты взял обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен беличьему.

Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель — земля радонежская, тихое удельное княжество Московской земли. Над краем поля, высоко, плавными медленными кругами ходили два коршуна. Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменилась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна память о нем осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течет все тем же руслом...

Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними; бабочки пролетали над тобой, некоторые из них, привлеченные красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но тут же взмывали, и ты провожал взглядом их восхитительный полет. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему и глазам видно было, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!

Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишащих паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках, подобно диким зверям. Лились и теперь детские слезы, лились, но совсем, совсем по другому поводу... Это ли не блаженство, это ли не счастье!

Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с тобой, эта лесная речка внизу и камушки на дне ее, брошенные твоей рукой, и чистые струи, обтекающие их, этот полевой воздух, эта белая набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подернутого голубовато-серебристой изморозью, и, как всегда, красивая издали деревенька, дрожащий горизонт за нею, — этот день, как и некоторые другие прекраснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда.

Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой взор далеко, глубоко назад, почувству-

ешь ли, что прожитых лет как бы и не было и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек? Неужели, неужели не вспомнишь ты себя и меня и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук неправдоподобно длинного летнего дня?

Куда же это все канет, по какому странному закону отсечется, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некой пеленой. Вот и ты! Ты уже так много знал, уже приобрел характер, привычки, научился говорить, а еще лучше понимать речь, у тебя уже есть любимое и нелюбимое...

Но кого ни спросишь — все помнят себя с пяти-шести лет. А раньше? Или все-таки не все забывается и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка, из самого раннего детства, от истока дней? Разве не испытывал почти каждый, как, увидев что-то, вовсе даже неяркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или запах, поразишься вдруг напряженной мыслью: это было уже со мной, это я видел, пережил! Когда, где? И в этой ли жизни или в жизни совсем другой? И долго силишься вспомнить, поймать мгновенье в прошлом — и не можешь.

Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф давно прибежал, умял себе в густой траве ямку и, растянувшись, спал, подрагивая во сне лапами.

В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел вспомнить обо всем, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты раза два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошел к себе. По-моему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь, но, странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты... Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким — не таким, каким ты был тогда, в то лето, а, скажем, десятилетним. В какие только путешествия не пустились мы с тобой, чем только не увлекались!

Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка! Что Царствие Божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но значит, и тысячи лет тому назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?

Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удлинились, когда ты заплакал.

Я ткнул папиросу в пепельницу и пришел к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно.

Но ты спал, подобрав коленки. Слезы твои текли так обильно, что подушка быстро намокла. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь — будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Сны — всего лишь сумбурное отображение действительности? Но если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел, кроме наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звезд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шелестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшись предстоящих страданий?

Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, глядя твои волосы.

— Сынок, проснись, милый, — говорил я, слегка тормоша тебя за руку. — Вставай, вставай, Алеша! Алеша! Вставай...

Ты проснулся, быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, прижал крепко и, нарочито бодрым голосом приговаривая: «Ну что ты, что ты! Это тебе приснилось, погляди, какое солнышко!» — стал раздвигать, откидывать на стороны занавески.

Комната озарилась светом, но ты все плакал, уткнувши лицо мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздуха и так крепко вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало.

— Сейчас обедать будем... Смотри, какая птица полетела... А где наш беленький пушистый Васька? Алеша! Ну, Алешка, милый, не бойся ничего, все прошло... Кто это там идет, не мама ли? — Я говорил что попало, стараясь развлечь тебя.

Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой еще страдальчески кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и засветился, увидев любимый тобою висящий на окне крошечный обливной кувшинчик, нежно выговорил, наслаждаясь одним только этим словом:

— Куинчи-ик...

Ты не потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают обычно дети любимую игрушку, — нет, ты смотрел на него омытыми слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и расписной глазурью.

Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ложкой по столу, не смеялся, не говорил «скорей!» — ты смотрел на меня серьезно, пристально и молчал. Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, теперь далеко и с каждым годом будет все отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не мое продолжение и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдешь навсегда. В твоём глубоко, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!

Я тянулся за тобою, спешил, чтобы быть хоть поблизости, я видел, что я отстаю, что моя жизнь несет меня в прежнюю сторону, тогда как ты отныне пошел своей дорогой.

Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым, слабым голосом звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?

Впору, братец ты мой, было и мне заплакать...

А было тебе в то лето полтора года.

СОДЕРЖАНИЕ

Е. А. Шкловский. Дальний путь к близкому 5

РАССКАЗЫ

Тихое утро	21
На полустанке	34
Ночь	41
Некрасивая	54
Голубое и зеленое	65
Тедди (<i>История одного медведя</i>)	92
Арктур — гончий пес	119
Никишкины тайны	138
Оленьи Рога	153
Манька	164
Трали-вали	178
Осень в дубовых лесах	191
Двое в декабре	208
Свечечка	219
Во сне ты горько плакал	232

СЕРИЯ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Литературно-художественное издание

Для среднего и старшего возраста

Казаков Юрий Павлович

ДВОЕ В ДЕКАБРЕ

Рассказы

Ответственный редактор

О. Б. Гринцева

Художественный редактор

Л. Д. Бирюков

Технический редактор

И. П. Савенкова

Корректор

В. Н. Дробышева

Компьютерная верстка

К. В. Москалев

ЛР № 010003 от 28.08.96

Сдано в набор 22.01.2001. Подписано к печати 22.03.2001.

Формат 84×108¹/₃₂. Бум. офсетная № 1. Шрифт «Школьный».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 12,84.

Тираж 50 000 экз. (1-й з-д 1 — 7000 экз.). Заказ № 3091.

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство
«Детская литература» Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.

103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.



**СЕРИЯ
«БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА»
(БМЛД)**



В этой уникальной серии издаются лучшие произведения русской и зарубежной классики, мирового фольклора, литературные и народные сказки, стихи и проза современных детских писателей. Включаемые произведения рекомендованы Министерством образования РФ к изучению по новой школьной программе.

Каждый том открывается обстоятельной вступительной статьей о жизни и творчестве автора. Тома выходят в твердом переплете с суперобложкой. В оформлении используются работы выдающихся мастеров прошлого и рисунки современных художников.

В серии вышло более 35 томов.

Вышли следующие тома:



- ГОГОЛЬ Н.В. Избранные произведения
- МИХАЛКОВ С. Детям
- ГЮГО В. Собор Парижской Богоматери; МЕРИМЕ П. Новеллы
- ЧЕХОВ А.П. Рассказы. Повести. Пьесы
- РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XVIII—XIX вв. Антология

Готовятся к выпуску:

- ГАЙДАР А. Повесть и рассказы;
- КАССИЛЬ Л. Ход Белой Королевы;
- РЫБАКОВ А. Корттик. Бронзовая птица
- БУНИН И.А. Повести и рассказы;
- КУПРИН А.И. Повести и рассказы
- БИБЛИЯ. ЖИТИЯ СВЯТЫХ



Казаков Ю. П.
К14 Двое в декабре: Рассказы/Сост. и вступ. ст.
Е. А. Шкловского; Ил. А. Веркау. — М.: Дет. лит.,
2001. — 250 с.: ил. — (Школьная б-ка).

ISBN 5-08-003962-0

В сборник известного прозаика вошли его лучшие рассказы о детях, о природе, о животных, о любви: «Никишкины тайны», «Свечечка», «Голубое и зеленое», «Некрасивая», «Тедди» и др.

УДК 820/89-93-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Тел.: (095) 285-07-15, 257-99-77

Издательство
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



ISBN 5-08-003962-0



9 785080 039621